

Г. Л. Олди

Я возьму сам

КНИГА ВТОРАЯ

ЗОЛОТОЕ РУНО

А еще спустя два года владыку Абу-т-Тайиба хотели провозгласить шахом -- но он отказался. Тогда его хотели провозгласить шахин-шахом, но он снова отказался. Ибо царским званием был титул шаха, шахин-шахом же звали царя царей, но эмиром в самом первом значении этого слова на языке племен Белых гор Сафед-Кух -- эмиром звали военного вождя, полководца, первого среди воинов.

И воинский титул был дороже для аль-Мутанабби диадемы царя царей.

Он пред врагами честь свою
И шпагу не сложил,
Он жизнь свою прожил в бою,
Он жизнь свою прожил.

Гони коней, гони коней! --
Богатство, смерть и власть,
Но что на свете есть сильней,

Но что сильнее, чем страсть?!

И. Бродский.
“Баллада Короля”.

КАСЫДА ОТЧАЯНЬЯ
(написанная в стиле “Бади”)

От пророков великих идей до пороков безликих людей.
Ни минута, ни день -- мишура, дребедень, ныне, присно,
всегда и везде.

От огня машрафийских мечей до похлебки из тощих грачей.
Если спросят: “Ты чей?”, отвечай: “Я ничей!”
и целуй суку-жизнь горячей!

Глас вопиющего в пустыне
Мне вышел боком:
Я стал державой, стал святыней,
Я стану богом,
В смятеньи сердце, разум стынет,
Душа убога...
Прощайте, милые:

я -- белый воск былых свечей!

От ученых, поэтов, бойцов, до копченых под пиво рыбцов.
От героев-отцов до детей-подлецов -- Божий промысел,
ты налицо!

Питьевая вода -- это да! Труп в колодце нашли? Ерунда!
Если спросят: “Куда?”, отвечай: “В никуда!”;
это правда, и в этом беда.

Грядет предсказанный День Гнева,
Грядет День Страха:
Я стал землей, горами, небом,
Я стану прахом,
Сапфиром перстня, ломтем хлеба,
Купцом и пряхой...
Прощайте, милые:
И в Судный День мне нет суда!

Пусть мне олово в глотку вольют, пусть глаза отдадут
воронью --
Как умею, встаю, как умею, пою; как умею, над вами смеюсь.

От начала прошлись до конца. Что за краем? Спроси мертвеца.

Каторжанин и царь, блеск цепей и венца -- все бессмыслица.
Похоть скопца.

Пороги рая, двери ада,
Пути к спасенью --
Ликуй в гробах, немая падаль,
Жди воскресенья!
Я -- злая стужа снегопада,
Я -- день весенний...
Прощайте, милые:
Иду искать удел певца!

Глава первая,
на пространствах которой едут путники, течет кровь,
несутся заревые кобылицы и маячит вдалеке чудной Мазандеран,
но напрочь отсутствует подробное описание
 плова по-самаркандски,
с добавлением курятины и черного гороха.

1

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела навеки вырваться из пределов Восьмого ада Хракуташа, где бродит в стенаниях Ушастый демон У, играя

закопченным молотом. Говорят, однажды он не выдержит и грохнет страшным орудием о три опорных кольца мира, заставив землю подпрыгнуть молочной сывороткой в лохани, когда о посудину споткнется нерадивая хозяйка. Закружится Вселенная на ржавом вертлюге, вихревые небеса стаей кречетов рухнут вниз, когтя все сущее -- и рассмеется демон У, встряхнет волосатыми ушами, видя страшное дело рук своих и своего молота.

К счастью, это будет не скоро; но и зарю тоже можно понять -- кому охота ночи коротать в таком гнусном месте?!

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в яростной скачке над башнями Кабира и Хаффы, дворцами Оразма и Фумэна, маслячными рощами Кимены и хмурыми замками Лоула, виноградниками Дубанских равнин и озерами Верхнего Вэя -- гони!..

...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени -- мим, даль, ха, зод, нун... я стал землей, горами, небом... я стану прахом... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер пугливо стреляет языками во все стороны, мрак подкрадывается на бархатных лапах, топчась у кольца света -- и залиvistый храп спутников вторит хору цикад.

Отчего ж не спать, когда сегодня последняя ночь покоя и безопасности? Последняя ночь в предгорьях Малого Хакаса, где каждое селение так и норовит наизнанку вывернуться, а превратить хлеб-соль в кебаб-вино... Дальше, небось, в безымянных горах-то, встречать будут по одежке, а провожать по загревку. О Совершеннейший Благотворитель, если б хоть одна тварь всерьез поверила, что я жажду покинуть их рай горячей, чем грешник стремится вынырнуть из смолы кипящей и

скрежета зубовного! Не верят. Е рабб, улыбаются; морды воротят... пусть их.

Здесь иначе не умеют, прав Гургин.

Человек в забывчивости хлестнул палкой по углям, и сноп искр был ему ответом. На миг почудилось: светляки, огненные брызги складываются в подобие круторогой головы, и хищные клыки скалятся в насмешке из-под вывороченных губ барана. Златой Овен подмигнул правым глазом, налитым кровью, и исчез -- как не бывало.

Может, и впрямь -- не бывало. Мудры были гяуры Эллады, когда придумывали свои богопротивные истории; и их мраморные идолы до сих пор смотрят на мир бельмами без зрачков. Смотрят, молчат, думая о славных временах джахилии, Эры Невежества, когда всякий был сам себе божком или героем, а Аллах (слава Ему!) попустительски глядел на земные забавы сквозь пальцы. Человек плотно зажмурился, чтобы не видеть бараньей ухмылки, если та решит явиться снова, и вспомнил слепого невольника-сицилийца из Тира. Гамхар... нет, Гаммар, Гаммар-безглазец, способный часами бубнить бесконечные муаллаки о дальних путешествиях и славных битвах. Еще тогда человек полюбил слушать о невезучем Язане ибн Эсане, возжелавшем сесть на отчий трон -- а выкупом за царский кулах назначили Золотое Руно, сокрытое в далекой Стране Огней. Небось, бедолага Язан тоже мечтал о слепоте телесной, когда заплатил за драгоценную шкуру великой платой: гибелью друзей, детей, родичей, уходом жены-колдуньи, одиночеством, и, наконец, подлой смертью под обломками собственной галеры!..

Эй, Язан ибн Эсан, друг мой, брат мой по несчастью, возможный пращур владык Харзы, чад Язана Горделивого -- слышишь ли меня в аду, где тебе самое место?! Я тоже иду за Золотым Руном, собрав вокруг себя героев и магов, всех, кого смог собрать; только я сам, собственными руками освежую этого проклятого барана, живьем содрав с гадины его замечательную шкуру! -- а после еще и зажарю тушу на вертеле, полью гранатовым соком, дам хорошенько подрумяниться...

Слышишь?!

Я са-а-ам!

Храп на миг прервался, самый большой из спутников человека недовольно заворочался во сне, фыркнул по-конски -- и перевернулся на другой бок.

Глядя на него, человек почесывал переносицу, водя пальцами от седловины к крыльям, и думал о потерях.

Подлинных и мнимых.

Этого спутника он мог потерять дважды: в самом начале безумного царствования, реши он проехать во дворец иным путем, возвращаясь с охоты -- и в самом начале пути за Золотым Руном.

Реши человек... а, решай, не решай, счет все равно идет на минуты везенья!

Как тогда.

2

...день прошел в бесплодных разговорах. Абу-т-Тайиб старался пореже смотреть на Нахид-дэви, на то чудовище, которым обратилась дерзкая красавица; и вечером опять не поехал во дворец. Здесь же и заночевал, в доме старого хирбеда. Опять. Словно ждал чего-то... продолжения? знамения? подсказки?! В кладовке у Гургина обнаружили цепи, замечательные такие цепи с разомкнутыми обручами на концах, и по краям обручей были пробиты отверстия для дужек замков. Замки, кстати, валялись рядом с цепями, и вызывали доверие одной своей величиной.

Спрашивать, зачем магу понадобилось хранить эти игрушки, Абу-т-Тайиб не стал. Просто следил, как Утба с Дэвом заковывают ночную убийцу поверх ремней, и без того тесно опутавших мощное тело; а потом обождал, пока пленницу не спустят в погреб и не захлопнут крышку.

Сторожить вызвался Дэв, и поэт был рад предложению юз-баши. Кроме того, парень люто казнил себя, что не сумел остановить гостью, что владыке пришлось спасать оплошавшего пса,

рискуя собственной жизнью...

Дэв абсолютно не умел скрывать своих чувств.

Абу-т-Тайиб хлопнул парня по плечу, отчего могучий юз-баши изрядно качнулся, велел Утбе сменить караульщика часа через два после полуночи -- и вскарабкался по хлипкой лестнице в балахану.

Ночевать в саду, на свежем воздухе, расхотелось напрочь.

Ночью ему снились удивительные сны: виноградные лозы прорастали на груди вместо волос, ступни впивались в землю корнями вековых чинар, из глаз струились горные водопады, разбиваясь о скалы колен, и гром в отдалении блял насмешливо, заставляя пальцы рук сжиматься в кулаки. Поэт пытался крикнуть, и горло, кажется, даже рождало какие-то звуки -- шум осыпи, плач младенца, криканье уток... Вся эта разноголосица ширилась, множилась, дребезжала треснутым кувшином, и в итоге опять превращалась в бляенье.

Он проснулся в холодном поту. И долго глядел во тьму, заставляя себя забыть, забыть, забыть... понимая -- не выйдет.

А потом внизу послышался глухой удар и звук падения тяжелого тела.

Дверь бала-ханы никак не желала открываться, слуга-горбун поработал на славу (или попросту запер снаружи, согласно указу мага и во избежание нежелательных визитов). Чертыхаясь, Абу-т-Тайиб ударил плечом -- сведя на нет всю работу и заботу горбуна. После чего кубарем скатился по лестнице, босиком угодив прямо в розовый куст; но проклятия замерли на языке.

Над бесчувственным Дэвом склонился Утба и, тихо смеясь, перевязывал обрывками своей рубахи лапы сотника.

Рядом, у бортика дворового хауза-водоема, валялось Дэвово копьё.

-- Это я его оглушил,-- подняв голову, хург увидел шаха в одном полотняном изаре на чреслах; но перевязки не бросил.-- Он себе жилы ножом резал, дуралей... Хорошо хоть не глотку! На

левой успел, а как за правую взялся, так я и вышел. Кричать побоялся: владыка спит, еще разбужу, напугаю... да и чего зря горло драть? Эту громадину разве криком остановишь? Подхватил его копыцею, махнул сплеча -- и оглоблей по затылку! Таких лучше в забытьи перевязывать... безопаснее. Я вот себе чуть плечо не вывернул, копыщем орудуя...

Видимо, сочтя объяснения исчерпанными, Утба хихикнул и снова вернулся к прежнему занятию.

Приблизясь, Абу-т-Тайиб обнаружил, что Дэв стал еще больше. Или чудится?.. да нет, ровно матерый буйвол! И лоб еще дальше выпятился, а виски и вовсе отвердели, круглятся двумя раковинами; так скоро рогов дождемся. Что ж это тебе в голову стукнуло, кроме собственного копья, безмозглый ты мой душегуб, мальчишка сопливый; с каких радостей ты себя жизни лишать вздумал?! Спасибо Утбе, подоспел, выручил...

-- Сбежала! Хозяин, она сбежала! Повелитель, скорее!

Вопил горбун.

Подкравшись тише мыши, слуга первым делом спустился в погреб -- и теперь голосил оттуда трубой ангела Израфиля, первый звук которой есть предвестник Судного Дня, второй есть знак истребления, а третий -- зов на Суд!

-- Сбежала! Ай, беда! Ай...

Со стороны флигеля уже спешил Гургин, похожий в своем шафрановом плаще на предвестника зари -- правда, очень костлявого предвестника; но поэт успел раньше мага. Он нырнул в погреб, отпихнул горбуна прочь, к штабелю кадок, и долго смотрел на порванные ремни и цепи с разомкнутыми звеньями.

Воображение ясно рисовало бегущую прочь Нахид-дэви, украшенную обрывками сыромяти и браслетами с замками. Даже шутить по этому поводу не хотелось; а другого способа успокоить рассудок Абу-т-Тайиб не знал.

-- С тобой все в порядке, мой шах?

-- Все, все...-- зачем-то прихватив одну цепь, Абу-т-Тайиб выбрался наверх и сунул добычу старцу. Тот повертел цепь в руках, подергал, даже понюхал; затем уныло встопорщил бороду.

-- Увы, мой шах, добыча иной раз рвет силки. Это известно всякому охотнику.

-- Пусти меня! -- дикий рев заглушил слова мага.-- Пусти, хург! Дай сдохнуть! Пусти!..

Очнувшийся Дэв, вскочив на ноги, отшвырнул спасителя прочь -- и впрямь, буйвол сбрасывает дикую кошку, сдуру вцепившуюся жожаку стад в загривок! Он был воистину страшен сейчас: порождение буйной фантазии сказителя, исчадие ада, охваченный бешенством исполин... несчастный подросток, “пятнадцатилетний курбаши”, которого продали и предали все на свете, и в первую очередь -- он сам.

-- Твое... твоё шахское! Убей меня! Убей! Это я... я ее выпустил... Я зверь! Я тварь дикая! Тварь!

-- Самка,-- тихо бросил Гургин из-за спины, подойдя к поэту вплотную.-- Он почуял самку и не сдержался. Казни меня, мой шах -- я должен был предвидеть...

Но Абу-т-Тайиб не слышал слов мага. Все будет потом: слова, объяснения, оправдания и заслуженная кара -- а ныне оставался лишь Дэв, слезы на волосатых щеках и голубая боль в двух распахнутых колодцах, в двух ямах, пересохших от засухи дикой вины.

-- Молчать! -- в пору было удивиться: свистящий шепот Абу-т-Тайиба разом пресек покаянный вопль самоубийцы, как тонкое лезвие ножа рассекает надвое кожаную полосу.-- Тварь? Да, тварь! Потому что руку на себя поднял! Потому что жизнь ни в грош не ценишь -- а она не твоя, эта жизнь, она моя, слышишь, моя! Я тебя с кола снял, я и посажу, когда захочу, а до тех пор живи и помалкивай! Е рабб! Бить станут -- живи; выть станешь -- живи; гнить станешь -- живи!!! В нечистотах, в бездне горя, в штормовой пучине моря, с молниями в небе споря, хоть подохни, а живи! Сын мой, брат, мое подобье, моей прихоти отродье -- в прошлом, в будущем, сегодня, вой от боли, а живи! Понял!

Отвечай, сын шакала: понял?!

-- Не-а...-- еле слышно рокотнуло в ответ, и Дэв без сил шлепнулся на софу. Запястья его, туго перевязанные Утбой, белели в предрассветной серости двумя голубями, но оперение птиц малопомалу маралось изнутри бурой грязью.-- Прости, твое шах... шахское -- ни бельмеса не понял! Окромья что в дерьме, а жить-таки придется... Ладно, буду жить. Да только не больно-то хочется; ты уж не серчай, шахское твое...

Утба подошел к понурившемуся исполину и обеими руками взъерошил его густую шевелюру.

Они славно смотрелись рядом: стройный хург, любимец женщин, и чудовищный юз-баши, отставная гроза больших дорог.

-- Я тебя тоже один раз спас,-- рассмеялся бешеный подарок харзийского султана.-- Только что. И запомни: посмеешь еще раз без разрешения в пекло сбегать -- из котла достану и обратно приволоку. За уши. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Дай-ка правую лапку, дубина,-- туже перетянуть надо...

И Дэв повиновался.

3

Человек у костра встал. Подошел к самому большому из своих спутников, долго смотрел на него; потом принес второе верблюжье одеяло и укрыл им великана, заботливо подоткнув края.

Вернулся обратно.

Повертел в руках палку с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав. Вав, мим, алиф... Из ущелья донесся порыв ветра, костер с радостью заплясал навстречу незваному гостю, и динар луны недовольно обратился к земле искусанным краем. Скоро встанет солнце и пойдет колесить путями светил, от одних пределов к другим. Скоро костру превращаться в пепелище.

Скоро... Человек улыбнулся. Откуда-то, из черных провалов невозможного, родился бейт:

-- Магриб есть Магриб, и Машрик есть Машрик, и им не сойтись никогда,
Пока не сойдутся небо с землей в минуту Господня Суда...

Бейт вышел странным. Человек готов был поклясться, что никогда не сочинял его. И никто не сочинял; во всяком случае, из известных человеку поэтов. При чем тут Господень Суд, и уж тем более Магриб и Машрик, то бишь Запад и Восток? На ум приходил лишь вислоусый магрибинец, коварный западнянин, явившийся к славному Ала-ад-Дину с целью завладеть волшебной лампой. Больше ничего путного на ум не приходило, кроме воспоминаний о собственном учителе грамматики, уроженце Машрика. Так прямо и встало в памяти: гнусавое бормотанье:

-- В языке благородных существует три части речи: имя, глагол и частица, причем категория имени включает все склоняемые части речи... А теперь, дети осла, мы пойдем вкушать полуденный сон! -- ибо сказал пророк (да сохранит его Аллах и приветствует!): “Соблюдайте полуденный сон, поскольку лишь шайтан в полдень не спит!” Вам ясно, тупицы? Только шайтан... охо-хо-хо...

Где ты теперь, старенький грамматик, знаток падежа “джерр” с окончанием на краткий гласный “и”, а также падежа “насб” с окончанием на краткий гласный “а”? Жив ли? Вкушаешь ли сон полуденный? -- или ждешь решения у райских ворот, попивая воду заоблачной реки аль-Каутер, сладкую как мед, холодную как снег и прозрачную как хрусталь?! Утешает ли тебя то, что войдя в пределы рая, ты станешь ростом в тридцать локтей, подобно нашему пращурю Адаму, и вновь войдешь в первую пору мужества?! Или тебе в раю будет недоставать детей осла и категории имени, включающей в себя все склоняемые части речи? О, откликнись -- где ты?

И где я, твой непутевый ученик, трепаный жизнью больше, нежели кусок бычьей шкуры -- голодной собакой; косноязычный поэт, хромой бродяга, шах Кабира, и после смерти обреченный не

знать покоя?!

Где я, ответьте, кто я?!

И из темной дали, из песчаного самума и морока тайной пещеры, из безвозвратно утерянного прошлого донеслось гнусаво:

“Аль-Мутанабби... эй, Абу-т-Тайиб, чтоб тебе пропасть и не найтись! Забыл, где находишься?! А ну-ка живо изложи мне основы метрики Халиля Басрийского! Не знаешь? Не помнишь?! О, я всегда говорил, что ты глупее риджля, того растения, чьи корни вечно подмывает вода рек! Только и годен, что рифмоплетствовать, позор рода...”

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби еще раз улыбнулся и ткнул в костер палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав.

Уймись, огонь!

Мы могли оказаться в этом месте и пробудить тебя к жизни; мы могли свернуть правее или левее, мы могли вовсе не покидать пределов Кабира...

Нет.

Не могли.

И снова заворочался под двумя одеялами самый большой из спутников поэта.

* * *

...допрос Дэва оказался делом сложным; и даже не потому, что Абу-т-Тайиб, если говорить честно, побаивался вкладывать персты в открытые раны, как поступал у людей Евангелия один из апостолов пророка Исы.

Просто Дэв почти ничего не помнил.

Кроме запаха. Густого, сладкого, мускусного запаха, от которого кружилась голова и сладко

ныло в паху. Руки помнил, чужие руки, они шарили тут, и еще вон тут... только перед этим он спускался... или не спускался? Забыл, твое шахское, ты уж не серчай на дурня, зверюка я тупая... а руки -- помню. Чужие, а ближе родных. И свои руки помню: рвал я что-то, в ключья рвал, драл со всей мочи, а оно противилось попервах, а там и лопнуло; тут рученьки мои клятые гнуть принялись. Звенья цепей; или не звенья, ты прости, шахское твое, плохо мне, и до того плохо, что удавиться бы -- да ты не велишь, и Утба ругается! Слышь, Утба, брось смеяться-то, я ж вижу -- тебе невесело, а мне-то как невесело, хоть на луну вой! Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь?! -- так хорошо, что сейчас едва вспомню, и в пот бросает, только от того еще более жить, славное ты мне наказание, шахское твое, выдумал -- жить и помнить, помнить и жить...

Вскоре Дэв заснул. Прикорнул у софы обиженным ребенком, сунув кулак под волосатую щеку; засопел утробно, иногда всхлипывая и булькая горлом.

Абу-т-Тайиб стоял над ним и вспоминал, как минутой раньше сказал могучему юз-баши:

-- Что ж ты прежде-то помалкивал, сынок? Я б тебе баб этих, гурий райских, дюжину отвалил! Настоящих баб, горячих, гладких -- что ж ты молчал, а?!

-- Настоящих не хотелось, твое...-- уже задремывая, буркнул Дэв.-- Гладких... и раньше, в шайке, не... не хр-р-р...

Утба перестал смеяться.

Встал рядом, плечом к плечу, как еще ни разу не становился; и вздохнул.

-- Нахид-дэви сбежала в Мазандеран, мой шах,-- Гургин сидел на приступочке и вертел в руках цветок гиацинта. Впору было поблагодарить мага за эту вольную позу, ибо раньше он никогда не садился в присутствии шаха, если на то не поступало отдельного разрешения. А сейчас как почувствовал, хитрец с бородавкой: нет лучшего лекарства Абу-т-Тайибу, чем дружеская простота.-
- Они все бегут в Мазандеран, в Край Дэвов. Нюхом чуют, куда идти. Хоть Железный Гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай -- дойдут, найдут... если в пути не

сгинут.

-- Мазандеран? -- машинально спросил поэт.-- Где это?

И выяснил для себя много нового. Оказывается, по одним свидетельствам, Край Дэвов располагался непосредственно за островом, населенным змеями величиной с верблюда, которые с утра до вечера восклицают: “Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад -- раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные -- мои братья, и добро -- мой путь!” Едва Абу-т-Тайиб успел заподозрить Гургина в издевательстве, как прозвучали иные свидетельства. Согласно им, в поисках Мазандерана следовало миновать ущелье Вак-Вак, где камни в виде голов злобных друждей, и их крик: “Вак! Вак-Вак!” сводит с ума каждого путника; после чего ты попадаешь в долину, где земля из шафрана, а вместо дров в кострах горит какуллийское алоэ. Но многие предполагали, что Край Дэвов не имеет к этому ущелью с долиной никакого отношения, а искать следует земли Халита и Малита, двух существ, совокупляющихся хвостами, в результате чего и появляются на свет змеи, скорпионы и дэвы-чудовища.

-- Хватит.-- устало бросил поэт, когда речь дошла до Ворот Слияния Двух Морей.-- Так бы сразу и сказал: куда идти, мол, не знаю. И никто не знает: восток ли, запад, Машрик, Магриб -- все едино!

-- Чего ж знать-то? -- сонный Дэв привстал, не открывая глаз, и отчетливо махнул рукой в сторону юго-западной стены города.-- Тудыть надобно... я ж сказывал -- запах...

И опять захрапел.

-- Говоришь, нюхом чуют? -- оскалился Абу-т-Тайиб.-- Хоть Железный Гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай -- дойдут, найдут?

-- Если в пути не сгинут.-- безнадежно повторил маг, уже догадываясь, что замыслил шах Кей-Бахрам, самый беспокойный правитель за всю тысячелетнюю историю Кабира.

Новая охалка сушняка рухнула в зубы костру. Огненный язык мигом принялся вылизывать добычу, и Абу-т-Тайиб отсел подальше: жарко. Там и вовсе встал. Прошелся к выюкам поклажи. Взял шахский ятаган, которым бился под Арваном, наполовину извлек из ножен, полюбовался прожилками стали, узором тяжкого клинка... Резными накладками из слоновой кости полюбовался, которые отныне украшали рукоять вместо драгоценной мишуры. Он просто не мог оставить оружие во дворце. Выглядело предательством. Так и мерещилось: это не ятаган, это он, поэт-неудачник, веками болтается на ковре, покрываясь невидимой глазу гнилью; это он в битвах рубит, зная -- сопротивления не будет, ответного удара не будет, не будет ничего, что сделало бы ятаган подлинным мечом боя, а не игрушкой-украшением или тесаком мясника.

-- Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.

Живой, я живые тела крушу, стальной, ты крушишь металл --
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Нет.

Оставить ятаган во дворце, как были оставлены шахский кулах и пояс, казалось совершенно невозможным.

Да и то сказать: проклятие шахства мало зависело от наличия или отсутствия кулаха -- даже без них Кей-Бахрама узнавали по ореолу фарра; а иногда -- непосредственно по Златому Овну. Оставляй, не оставляй... О Аллах, как же трудно было отвязаться от названного сына, от Волчьего

Пастыря, от мальчишки Суришара! Поэт твердо решил не брать с собой в поход на Мазандеран никого, кроме “небоглазых” -- тех выродков, которые (это он уже понимал ясно!) не умели видеть сияния фарра. Но Суришар вбил себе в голову, что должен грудью прикрывать владыку от опасностей. Шах-заде и без того корил себя, что в битве под Арваном допустил пленение шаха; в своем упрямстве он дошел до невозможного -- почти до открытого сопротивления. И Абу-т-Тайиб втайне надеялся, что все-таки, все-таки...

Надежды оказались тщетными.

Суришар угомонился и склонил голову пред желанием повелителя.

Оставшись в Кабире в качестве временного наместника; и при разговоре с глазу на глаз вдруг припомнил занятную подробность. Оказывается, когда хирбеды возили юного шах-заде к пещере Испытания, Гургин проговорился относительно красавицы-хирбеди. Дескать, не один он, старец бородавчатый, уже бывал до того в безымянных горах -- Нахид тоже бывала! Задумайтесь, мой государь: с чего бы это молоденьким жрицам кататься туда-сюда по святым местам, будто места эти не святые, а самые что ни на есть грешные, и жрицы не жрицы, а гулены непутевые? На хмурых великанов ездил смотреть? На гулей-людоедов с их боевым петухом?! На храм идола Сарта, попирая ногами веру истинную, владыкой на днях подаренную?!

Прими во внимание, отец названный!

Абу-т-Тайиб принял; и все равно отказался брать Суришара с собой.

Единственное, что шах-заде позволил себе, а поэт не препятствовал -- это проводить обожаемого владыку до границы с Малым Хакасом. Где развернул своих гургасаров обратно, а они поехали дальше: сам Абу-т-Тайиб, мрачный Гургин, рядом с которым веселый Утба смотрелся и вовсе пустосмехом -- а за ними ехал молчаливый Дэв, примостив поперек седла свое любимое копьцо, уже прозванное злопыхателями “Сестрой Тарана”.

Многие добавляли: “Родной сестрой...”

Иногда Дэв пинал конские бока каблуками и вырывался вперед. Он долго втягивал ноздрями воздух, вертел огромной головой, и вид у него в такие минуты был -- хоть сразу в сказку. Потом метания прекращались, исполин наконецником копья указывал путь; и все без лишних вопросов следовали туда, куда обращалось жало “Сестры Тарана”. Впрочем, и помимо Дэвова нюха были свидетели пути Нахид-дэви в Мазандеран -- только в их историях бывшая хирбеди звалась Красной Дэвицей, кровавой ведьмой.

Дихкане, чей хлев ночью оказался разрушен, а молочная буйволица утащена невесть куда.

Пастухи, чьих овец пожрало волосатое чудовище, предварительно задушив троих матерых катьярцев -- собак, в одиночку бравших волка.

Охотники, сдуру возомнившие себя легендарными богатырями; двух таких богатырей родичи успели оплакать, припадая к останкам, а третьего Красна Дэвица уволокла с собой, и тело бедняги найдено не было.

Рыбаки из селений на берегу мутной Сузы, отделавшиеся легким испугом и пропажей корзин с частью дневного улова.

Красна Дэвица шла в Мазандеран, и по ее следам, повинуясь копьё бывшего душегуба и воплям пострадавших, шел шах Кабира.

Абу-т-Тайиб и сам плохо понимал, зачем он это делает; верней, не хотел признаться самому себе, что есть причина и кроме скрытой вины перед беднягой Нахид. Как-то Суришар обмолвился, будто за пределами Малого Хакаса живут тупые горцы, которых Огнь Небесный наградил слепотой.

В смысле, они не видят божественной благодати фарра.

Е рабб, не счастье ли, не великая ли милость: оказаться вместе с тремя “небоглазыми” в окружении тупых горцев, лишенных этакой благодати?

Глава вторая,

где невозможное становится возможным, небывалое -- бывалым,
незримое -- вполне зримым и даже слишком,
но абсолютно не приводится знаменитое изречение пророка
(да благословит его Аллах и приветствует!):
“Самый великий враг твой -- душа твоя, которая меж твоих боков!”

1

-- ...Нам точно сюда, Дэв? -- в третий раз переспросил поэт.

Ну не нравилось ему это ущелье, не нравилось -- хоть навали вместо скал сахарных леденцов-кандов, а все равно с души воротит! И ведь понимал же: скорее всего, Дэв прав, им именно сюда -- до сих пор Худайбег ни разу не ошибся в выборе пути; и другой дороги все равно нет, разве что назад; все он понимал, упрямый поэт, все принимал, и хмурился грозовой тучей, потирая седловину носа заново выросшими пальцами.

Может быть, потому что не было другой дороги, и не нравилось Абу-т-Тайибу это ущелье.

-- Сюда, твое шахское, сюда. Чую я...-- в третий раз повторил Дэв.

Утба криво усмехнулся, вызываясь подбоченья в седле -- дескать, нам-хургам хоть в Верхнюю Степь, хоть в Нижнюю Крепь, все едино!.. а Гургин промолчал. Магу тоже не нравилось ущелье, до ломоты в костях, до душевной дрожи; но он, как и шах, понимал -- другого пути все равно нет.

Поэт помедлил еще чуть-чуть.

Тропа раненым барсом уползала вниз, в вечную сырость сумрака. А над ней смыкались дверными створками, отсекая небо, серо-желтые зубцы скальной крепости, и широкие трещины скалились ухмылками черепов, щерили гнилые клыки: поезжайте, слякоть человеческая, поезжайте!

А мы посмотрим сверху и посмеемся -- как-то вы отсюда выберетесь?!

Абу-т-Тайиб мотнул головой, отгоняя стаю надоедливых слепней-мыслей, уже готовых оформиться погребальной элегией; и решительно направил свою кобылицу в ущелье.

Та шла неохотно, то и дело косясь на безрассудного седока -- но шла.

-- Вперед, Наама! -- строго крикнул поэт, и кобылица прибавила шагу; а в резвости она не уступала своей незабвенной тезке из тех песков, куда не было возврата.

Скалы лениво росли вверх, возносясь на головокружительную высоту, промозглая тьма сгущалась вокруг, так и норовя стать тьмой кромешной; уши закладывало, отчего поминутно приходилось сглатывать слюну, вязкую, как после доброй порции насвая, тертого табака с пережженной известью, золой и конопляным маслом. Гулко отдавались от щербатых стен удары копыт о тропу, наполняя теснину грохотом: словно не четверо, а добрая сотня всадников двигалась сейчас в расселине, поражаясь собственной дерзости и с опаской поглядывая на тяжкие громады над головой -- а ну как оползень или лавина?!

Не уйти ведь, хоть наизнанку вывернись...

Кони боязливо фыркали, пугаясь рева дальних, невидимых отсюда водопадов, скользили копытами по гладкому, словно отполированному камню, приседали на задние ноги -- в итоге всем четверым пришлось спешиться, ведя дальше животных в поводу.

Они миновали середину ущелья; верхушки скальных разломов начали потихоньку отползать прочь, в стороны, край солнечного диска приподнялся над южной оконечностью хребта, превратив теньевые склоны в мириады взглядов “небоглазых” -- такой голубизной вдруг вспыхнули они; тропа стала шире...

-- Что языки проглотили?! -- обернулся Абу-т-Тайиб к примолкшим спутникам.-- Вон за тем поворотом можно будет вновь сесть в седла. Кажется, сподобил Аллах (славен Он!) выбраться из этой шайтановой задницы!

В ответ шайтан, как и подобает Противоречащему, отродью непослушания, издевательски пустил ветры.

И грохот камнепада ударил в уши, мигом прочистив их лучше любого сглатывания.

Угловатые глыбы гневом Господним обрушились сверху, с совершенно безобидного на первый взгляд карниза. В первое мгновение все растерялись, но промедление грозило гибелью, не забыв об этом уверить со всей определенностью. Огромный обломок упал и раскололся, забрызгав крошкой сапоги Абу-т-Тайиба: не обернись поэт, желая подбодрить своих спутников, сделай еще шаг вперед -- и пришлось бы кабирским хирбедам срочно искать замену безвременно раздавленному шаху!

Сюда б, небось, и поехали: в безымянные горы, пещеру Испытания искать!

Истошно заржала кобылица Наама -- чтобы тут же рухнуть на тропу с перебитым хребтом, разделив печальную судьбу арабской тезки. Видать, неудачное имя хуже злой судьбы, висит гирей, на дно тянет...

-- Под скалу! Быстро! -- с неожиданной властностью рявкнул Гургин.

Камни продолжали с грохотом валиться на тропу, погребая под собой уже двух мертвых лошадей (вьючная невовремя шаракнула в сторону, почти сразу сломав ногу, а там и шею). К счастью, вся четверка путников, сдержав насмерть испуганных животных, успела вжаться в шершавую нишу, переводя дух и пережидая смертоносный базальтовый ливень. Дэв, морщась, трогал окровавленное плечо -- его-таки успело зацепить краем. Кому другому после такой ласки пришлось бы хвастаться десятком переломов, а Худайбег только гонял желваки на скулах да хрипло цедил сквозь зубы кипяток разбойничей ругани. Ну, рассадило сгоряча; ну, кровотоцит; ну, больно -- понятное дело, не халат с шахского плечика, а лохмотья с собственного...

Ерунда, в общем.

Грохот камнепада стих так же внезапно, как начался. И в оглушительной тишине, затопившей теснину ватным обвалом -- даже кони бросили ржать, словно прислушиваясь -- стал отчетливо

слышен шорох осыпи мелкого щебня.

Остатки убийственного ливня? -- ничуть не бывало!

Кто-то поспешно спускался к ним по узкой расщелине, уходившей вверх совсем рядом.

2

-- Это она,-- с мертвым спокойствием, почти отрешенно, бросил Дэв.

-- Она? Нахид? -- не удержался Абу-т-Тайиб.

-- Говорю -- она, твое шахское,-- юз-баши угрюмо кивнул, поудобнее перехватывая любимое “копьецо”.

-- Мастерница западни рыть... умница,-- хмуро подытожил Гургин, бочком отодвигаясь подалее от расщелины.

И правильно сделал: нечего старику в драку лезть -- толку, как от свиньи святости, а пришибить могут запросто!

Волосатый комок ярости, рыча камышовым котом-подранком, шлепнулся сверху -- и проворно отпрыгнул, когда в небесной сини взгляда Красной Дэвицы, в мечущей молнии вышине отразился блеск трех лезвий: “копьеца” Худайбега, секиры Утбы и шахского ятагана.

Существо, бывшее некогда юной Нахид-хирбеди, попятилось -- и Абу-т-Тайиб отчетливо увидел, что превращения бывшей жрицы продолжились. Из-под грязных лохмотьев, оставшихся от одежды, клочьями торчала рыжая шерсть, руки и ноги бугрились просто ужасающими узлами мышц, которым, пожалуй, иной лев позавидует; да и в лице (если только это еще можно было назвать лицом) появилось нечто звериное, хищное: переносица просела еще больше, выворачивая ноздри наружу, верхняя губа вздернулась, обнажая желтоватые клыки...

Абу-т-Тайиб смотрел, не в силах оторвать взгляда. Так зачастую неожиданное, странное

уродство завораживает нас больше самой совершенной красоты. Поэт не испытывал отвращения или страха -- он с удивлением поймал себя на жалости, обжигающей жалости, каленом железе в сердцевине души. Где ты, дерзкая порывистая девчонка, которую я испытывал большим испытанием, под звон строк великого слепца Рудаки?! Навеки ли погребена под жуткими буграми мышц и рыжими космами Красной Дэвицы?! Неужели ничего нельзя сделать?! Неужели тебе не быть прежней -- и правильной будет отпустить тебя с миром в проклятый Мазандеран, где прячутся хищные ответы на вопросы, так и норовя загрызть любопытного?!

Е рабб, что же делать?

Но оказалось, что пока Абу-т-Тайиб предавался бесплодным рассуждениям, верный Дэв уже начал действовать. Правда, действовать по-своему: осторожно, стараясь не спугнуть, он приближался к Нахид, бормоча что-то ласково-успокоительное, вроде:

-- Не бойсь, махонькая! Не бойсь, говорю... Дэв не обидит, Дэв хороший!.. и ихнее шахское -- хорошее, и даже Утба ничего, а что топор у Утбы, так мало ли, хорошее -- оно всегда хорошее, хошь с топором, хошь с кулаками... Ну иди, иди сюда!..

При этом Худайбег, как бы ненароком, перекрывал Красной Дэвице путь к отступлению.

Нахид-дэви слушала воркотню приближающегося исполина, склонив набок косматую голову и то и дело настороженно зыряка в сторону остальных путников. Дэва она, похоже, совсем не боялась, несмотря на его “копьецо”, которое Худайбег умудрялся держать так, что древко “Сестры Тарана” перегораживало чуть ли не пол-ущелья.

По лицу Дэва стекали крупные капли пота, багровые пятна проступили на щеках; это напоминало преддверие приступа, того, бывшего припадка, когда на спасенного душегуба впервые надели сотничий пояс и кулах. Только сейчас Абу-т-Тайиб осознал, насколько парню тяжело в эту минуту. Внутри него пробуждался от спячки молодой дэв-самец, увидевший рядом вожденную самку, которой, возможно, уже однажды обладал. “Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь?!

-- так хорошо, что сейчас едва вспомню, и в пот бросает, только от того еще больше жить, славное ты мне наказание, шахское твое, выдумал -- жить и помнить, помнить и жить..." Самке грозила опасность -- ее надо было спасать от людей, уводить подальше... Но Дэв-человек, Худайбег аль-Ширвани, "пятнадцатилетний курбаши" и преданный пес шаха Кей-Бахрама, из последних сил сдерживал просыпающегося в нем самца, вцепившись в зверя невидимыми руками, выполняя свой долг, пытаясь задержать беглянку. Сейчас к Нахид приближались они оба -- дэв и человек, хищность и преданность, похоть и долг, намертво слитые в одном теле, отталкивая друг друга в сторону -- и все больше становясь друг другом, все больше, все...

-- Худайбег, опомнись! -- вопль вырвался из груди Абу-т-Тайиба сам собой, непроизвольно; а в следующее мгновение стало ясно, что поэт зря это сделал!

Нахид-дэви затравленно дернулась при звуке его голоса, вжалась бугристой спиной в скалу -- и скала неожиданно поддалась, потекла каменной лавой, киселем, жидким маревом, серой пеленой тумана...

Нахид с чавкающим всхлипом ушла в скалу, в глубь камня, и Худайбег, забыв обо всем, кинулся за Красной Дэвицей. Зыбкое озеро, возникшее на месте шершавого базальта, легко пропустило Дэва, смыкаясь за ним Иблисовым издевательством -- а кинувшийся следом Утба налетел на несокрушимую крепость, упал и зашипел гадюкой по-харзийски, сидя на тропе и машинально растирая ушибленное колено.

Абу-т-Тайиб осторожно приблизился.

Нет, скала не застыла окончательно. Сейчас ее поверхность походила на мутное зеркало, по которому время от времени пробегала легкая рябь, как по озерной глади от дуновения ветра.

Худайбег и Нахид-дэви были там, внутри.

Внутри?

Абу-т-Тайиб взгляделся внимательнее и охнул от изумления. Там, дальше, по ту сторону зыбкой препоны, простирался целый мир, и мир этот был до боли знакомым: бескрайнее море песка, вздымаемого застывшими волнами барханов, чахлые кустики верблюжьей колючки, выцветшая окалина небосвода со слепящим бельмом солнца в зените...

А потом поэт увидел дэвов. Теперь он хорошо представлял себе, какими должны будут стать Худайбег и Нахид, когда их превращение завершится.

Эти трое казались великанами даже по сравнению с юз-баши и хирбеди-расстригой! Если Нахид, и особенно Худайбег еще были вполне похожи на детей Адама, то эти скорее походили на потомков племен Ад и Самуд, истребленных Аллахом за непомерную гордыню. Утесы сдвинулись со своих исконных мест, самум во плоти решил прогуляться в компании себе подобных, встали на дыбы слоны в течке (разве что без хоботов, и уши поменьше; а так -- слон себе и слон, хоть нынче на погрузку!)...

Или это кисель сошедшей с ума скалы искажает очертания?!

Или это я рассудком тронулся?!

Три дэва встретили Нахид буквально с распростертыми объятиями -- и Красна Дэвица поспешила укрыться за их могучими фигурами; так ребенок, убегая от старших мальчишек, прячется за спины родителей. Утесы в серых колтунах неторопливо пришли в движение, оборачиваясь навстречу бегущему к ним Худайбегу; один из дэвов раскорячился, нагнулся, поднял валун размером с добрую конскую тушу -- и в этот момент за гигантами взметнулась пыль, блеснули малые зарницы...

Абу-т-Тайиб не видел и не слышал ничего вокруг себя, прикипев взглядом к прозрачной стене, за которой события вдруг понеслись вскачь. Он знал, чувствовал, что бессилён прорваться

туда, домой, в выжженную зноем пустыню, в Степь Копьеносцев, бессилён что-либо изменить -- он просто стоял и смотрел. Не ведая, что совсем рядом Гургин торопливо бормочет какие-то молитвы-заклинания; что Утба, на удивление серьёзный, забыв об ушибленной ноге, помогает хирбеду разжечь ритуальную жаровенку, неизвестно откуда извлеченную старцем. Гургин и Утба торопились -- явно не успевая... чего не успевая?

Куда не успевая?!

Поэт не знал этого. Он стоял и смотрел, как замороженный.

Откуда-то из-за спин дэвов вывернулся всадник -- уркаль плещет на ветру, тонконогий пегий скакун брызжет пеной, узкий шамшер в руке грозит смертью всему живому, будь ты враг, будь ты джинн, будь ты ангел божий! Всадник радостно оскалился (Абу-т-Тайибу даже не пришлось в голову удивиться: как такие подробности удастся рассмотреть на немалом, надо сказать, расстоянии); и клинок шамшера указал на шарахнувшуюся прочь Красну Дэвицу. Каменные дэвы задвигались... тот, что с валуном, выпрямился... сабля повисла в воздухе над головой Нахид...

Звуков поэт не слышал: они глохли, не проникая сквозь призрачную вуаль. Но от яростного рева Худайбега, казалось, дрогнула сама земля -- и в том, и в этом мире! Всадник замешкался всего на мгновение, но этого неуловимого мига Дэву хватило, чтобы одним огромным прыжком оказаться рядом и, еще в полете, не успев коснуться песка, насквозь пронзить бедуина своим чудовищным "копьем"! Сабля выпала из руки кочевника, а Дэв, взмахнув копьем с насаженным на него человеком, отшвырнул труп далеко в пустыню.

Страшная картина замерла, превратясь в творение безумного скульптора-гяура -- а потом от ближайших барханов к дэвам ринулись всадники.

Тут уж двуногие слоны не оплошали. Пригодился и чудо-валун, подобранный одним из них; у другого обнаружилась суковатая дубина совершенно невероятных размеров -- куда поболее Худайбеговой "Сестры Тарана"! Третий же, похоже, всецело полагался на собственные кулаки -- и

не без оснований! Нашлось дело и для расстриги-хирбеди; но, вопреки здравому смыслу, основной боевой силой в этой пятерке оказался Худайбег аль-Ширвани, весьма похоже изображая ветряк, уже знакомый Абу-т-Тайибу по битве под Арваном. Только ветряк этот сам гнал во все стороны кровавый хамсин, ветер гибели, чьи порывы жарко секут песчаной пылью живую плоть, и унесенные ветром тела бедуинов рушились в песок, щедро орошая его багряным соком, а души возносились...

В общем, уже не важно -- куда; тем более, об участи душ один Аллах (слава Ему!) ведает!

И лишь один бедуин замер поодаль, не участвуя в битве. Сидя на вороном коне и уперев в землю древко длинного копья, человек сей, лет уже немалых и ликом черный (хотя и посветлее коня), застыл эбеновым изваянием, устремив невидящий взгляд в одному ему ведомую даль -- и до поэта не сразу дошло, что человек смотрит НА НЕГО, АБУ-Т-ТАЙИБА АЛЬ-МУТАНАББИ!

Бедуин видел! Видел сквозь немыслимую толщу фарсангов и событий его, Абу-т-Тайиба -- и, намертво застряв меж “возможно” и “невозможно”, поэт увидел себя глазами незнакомца.

Колдовское марево делало очертания искаженными, расплывчатыми -- и мнилась бедуину внутри туманного кокона громада кряжистой фигуры, окруженная сияющим ореолом! Воистину, порождение огня, царь джиннов и владыка дэвов явился сюда, дабы наслать на вольные племена своих жутких слуг с руками-граблями, слоновьими ногами и глотками, реву которых завидуют львы в пустыне!

Таким видел его замерший в седле бедуин, и зрелище это сковало темнокожего всадника по рукам и ногам; братом-двойником застыл и сам Абу-т-Тайиб, наблюдая за битвой по ту сторону магической преграды. А бой продолжался, вскипал кровавой пеной, и нападавших становилось все меньше и меньше: копья с легкими саблями попросту ломались о гранитную плоть великанов-дэвов, в то время как любой достигший цели удар чудовищ оказывался роковым.

Бедуины сражались с дэвами. Люди, возможно, даже земляки или соплеменники Абу-т-Тайиба -- с косматыми чудовищами. Но, странное дело -- сейчас поэт всем сердцем желал победы именно

чудовищам; потому что на стороне чудовищ сражался верный Худайбег, и там же была Нахид, которой поэт все еще надеялся каким-нибудь чудом вернуть человеческий облик; да и остальные три дэва пальцем не трогали кочевников, пока те сами не решили посягнуть на чужую жизнь!

Сомнительно, чтобы влияние пресловутого фарра простиралось и по ту сторону шайтановой скалы; дважды сомнительно, что небеса вняли пожеланиям шаха Кей-Бахрама -- но факт налицо: все пятеро дэвов были до сих пор живы. Ни один из них не был даже серьезно ранен, в то время как ряды атакующих стремительно таяли.

Неожиданно темнокожий всадник очнулся, вскинул свое копьё и с места рванул в галоп. Он явно решил наконец принять участие в сражении, все больше походившем на бойню. Глаза воителя зажглись бешеным огнем, эфиопские губы расползлись, выплевывая слово за словом -- и вдруг Абу-т-Тайиб услышал.

Услышал!

-- О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета,
Как небесная планета, вечной славе обречен!

По отцу я -- лев пустыни, племенных шатров святыня,
А на кличку "Сын рабыни" отвечать привык мечом!

Вместе с чеканными, яростными бейтами на Абу-т-Тайиба обрушился шум боя: конское ржание, топот копыт, звон стали, рев дэвов, крики раненых... Но поэт не вслушивался, не вглядывался -- он перебирал чужие слова, как нищий перебирает горсть медяков, не в силах поверить случайному богатству. Где-то он уже слышал подобные строки, двустилишия со слегка старомодной рифмовкой, откуда-то они были известны человеку по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби!..

А потом время стихов закончилось, и наступило время крови, и тишина вновь отсекала битву от поэта невидимой стеной.

Черный всадник налетел на Дэва, ударив его на всем скаку копьём в грудь. Абу-т-Тайиб закричал -- и поперхнулся собственным криком: копьё сломалось гнилой тростинкой. Дэв в ответ отмахнулся своей оглоблей, но всадник оказался умелым поединщиком: он успел уклониться, одновременно заставив кривую альфангу покинуть ножны. Казалось, все кончено: сейчас голова Худайбега кубарем покатится в песок, на радость бедуинам; однако в последний момент толстенное древко Дэвового “копьеца” непостижимым образом оказалось на пути альфанги -- и синяя сталь разлетелась в куски.

Бедуин резко подал коня назад, развернулся и поскакал прочь -- а за ним последовали остальные уцелевшие кочевники. Их оказалось совсем немного.

Вскоре всадники скрылись за барханами, и Абу-т-Тайиб наконец перевел дух. В голове прочно засели те два бейта, которые выкрикнул бедуин с явной примесью эфиопской крови. Поэт был уверен, что уже слышал их раньше, и теперь надо вспомнить, обязательно вспомнить... Почему-то это казалось ему очень важным. Но память-насмешница изворачивалась скользким угрем, выскальзывала из хватки рыбака-разума -- а дэвы тем временем, проводив всадников тяжелыми взглядами и коротко посоветовавшись между собой (использовались в основном жесты, но Абу-т-Тайиб все равно так ничего и не понял), дружно побежали вразвалочку к призрачной завесе.

Вместе с Худайбегом и Красной Дэвицей.

Абу-т-Тайиб невольно посторонился, спеша убраться с пути великанов -- но первый из каменных дэвов вдруг свернул в сторону, воздух вокруг него задрожал, потек молочной сывороткой -- и дэв исчез как не бывало! Следом за ним исчез второй, третий, Нахид-дэви...

Последним, виновато оглянувшись, скрылся Худайбег.

Почти сразу колдовской кисель, сквозь который смотрел поэт, начал быстро уплотняться,

твердеть; и вот перед шахом со спутниками -- обычная скала, какой она была от сотворения мира и до того момента, когда началось все это Иблисово наваждение!

Вот только ни Нахид, ни Дэва в ущелье уже не было.

-- Опоздал, гори оно Огнем Небесным! -- сокрушенно выдохнул Гургин и плюнул с досады, чего раньше за почтенным старцем никогда не водилось.

* * *

...Звезды ободряюще подмигивали сквозь прорехи ночного покрывала, таинственно мерцали красные глаза углей под толщей седого пепла, вторя звездам из недр угасающего костра -- а Абу-г-Тайиб все сидел и сидел, вперив невидящий взгляд в темноту.

Но видел он не костер, не небо, и не смутные тени возвышавшихся кругом скал. Перед взором поэта вновь и вновь распахивалась желтая, покрытая рябью барханов пустыня, выжженное безжалостным солнцем блеклое небо, глупый, бессмысленный бой -- и припавший к шее коня чернокожий бедуин-полукровка, с губ которого срываются строки, стрелы, бейты восхваления:

...По отцу я -- лев пустыни, племенных шатров святыня,
А на кличку “Сын рабыни” отвечать привык мечом!

Е рабб, как же я мог забыть?!

Антара Абу-ль-Фаварис, гордость славных времен джахилии, Отец Воителей, от одного имени которого содрогались стены Рума! Антара ибн Шаддад, сын шейха абситов от рабыни-эфиопки, раб по происхождению, воинской доблестью заставивший гордого отца включить чернокожего ублюдка в племенную родословную! Антара-Губошлеп, великий боец, взбалмошный

герой, живая легенда Бену Абс -- и прославленный в веках поэт, чья муаллака была подвешена на священной Каабе, певец, которому сам Абу-т-Тайиб временами завидовал черной завистью; черной, как кожа бросившегося в атаку бедуина; черной, как кожа легендарного Антара, которому принадлежали эти стихи!

Тот, с кем мечталось ехать бок-о-бок в походе и набеге, с кем имело смысл состязаться в красноречии и остроте копья... сбылись мечты глупца!

Но как же страшно и как же странно сбылись они, о Аллах, всемилостивейший и милосердный! -- не лучше ли было мечтам оставаться мечтами, жизни -- жизнью, а смерти -- смертью, и только смертью?!

Конечно, отчаянный бедуин вполне мог попросту цитировать бейты своего любимца и кумира... Мог. Только вряд ли. Абу-т-Тайиб хорошо знал по себе: если в бою и находит на человека красноречие -- то это его, только его слова и рифмы, они сами вырываются из неведомых глубин души вместе с молниеносными ударами, несущими смерть.

Тут уж не до цитат, даже если цитата -- к месту...

Опять же, Антара Абу-ль-Фаварис, судя по сохранившимся описаниям, был чернокож, сухощав, пылок нравом до самой старости и всегда возглавлял отряды бедуинов в многочисленных набеге и стычках. Да и черный орел на копейном значке... символ Бену Абс. Абу-т-Тайиб напряг память и тихо, нараспев, продекламировал строки из книги “Сират Антара”, которую уже не первый год писал его старый знакомец аль-Асмаи, собирая по крохам легенды, предания, стихи...

Многие куфийцы и дар-ас-саламцы утверждали единодушно: сказителя аль-Асмаи прекрасно помнили их деды и прадеды, этого плешивого хитреца трижды хоронили при великом стечении народа (первый раз -- за шестьдесят семь лет до рождения самого Абу-т-Тайиба), анекдоты про плута аль-Асмаи давным-давно сделались достоянием крылатой молвы -- а он все нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино и составлял свою “Сират Антара”!

Утверждая, что герой его повествования, Антара Абу-ль-Фаварис, прожил шесть сотен лет, а ему, певцу, негоже отставать -- и, значит, книгу аль-Асмаи закончит (когда бы вы думали?) к пятисотлетию бегства Мухаммада, юбилею правоверных!

Помнишь ли, старый приятель, свои удивительные заверения; помнишь ли и эти строки?

“...и вдруг, когда они приблизились к долине Сарих, перед ними появились пятеро великанов такого огромного роста, как будто они были из проклятого народа Ад и Самуд. Большеголовые, пучеглазые, рты у них были огромные, ноги -- как корабельные мачты, а руки походили на вилы. И рычали те великаны подобно грому, а видом напоминали разъяренных львов...

...но не успел Гадбан, сын Антары, закончить свою речь, как налетел на него один из страшных великанов и ударил его копьем в грудь, и оно вышло, сверкая, из его спины. А потом он поднял Гадбана на копье и бросил вниз, и Гадбан остался недвижимым на лике земли...

...очнувшись наконец, Антара налетел на первого из пятерых великанов и ударил его копьем в грудь, но копье сломалось. Тогда Антара выхватил меч из ножен и ударил им великана -- но меч отскочил и согнулся. Тогда Антара в страхе повернул коня...”

Все сходилось почти в точности, а что не сходилось -- так за столько лет сказители и перевертат могли!

Ведь, если верить легендам, неистовый Антара слагал бейты и ходил в набеги еще задолго до рождения пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) -- более пяти веков тому назад!

О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета...

Глава третья,

в которой один шах встречается с другим шахом,
спасая последнего от злобного барана,
дэвы используются в качестве вьючных лошадей,
а вокруг тем временем происходит немало странных вещей --
но при этом остается совершенно непонятным,
где все-таки находится этот пресловутый Мазандеран,
куда в итоге попадают путники!

1

...и тогда Имр-уль-Кайс спросил Антару:

-- О Отец Воителей, скажи мне, сколько ты знаешь названий и прозвищ меча?

И Антара ответил:

-- Слушай и запоминай, что я скажу: он называется Меч, Беда; Суровый, Повелитель, Прямой, Гибель, Смерть, Блеск росы, Быстрый, Великий, Острый, Полированный, Блестящий, Благородный, Посланец смерти, Вестник гибели, Ветвь, Покорный, Лезвие, Прекрасный, Бодрствующий, Горделивый, Решающий, Нападающий, Послушный, Ровный, Режущий, Кончина, Судьба, Честный, Верный, Начало, Конец, Разящий, Гнев, Плачущий кровью, Рассеивающий горе, Мужественный, Закаленный, Отсекающий, Синий, Цветущий, Возвеличивающий, Стирающий, Разделяющий, Чудо, Истина, Путь, Разящий героев, Друг, Заостренный, Отточенный, Кровавый, Защитник, Светлый, Улада очей, Уплата долга, Проливающий кровь, Губительный, Товарищ в беде, Владыка змей, Жаждающий -- вот немногие имена и прозвания меча, о Имр-уль-Кайс!

И тогда Имр-уль-Кайс, прозванный Скитающимся Царем, спросил Антару:

-- О Отец Воителей, а какую именно муаллаку, сложенную тобой, ты хочешь повесить в

святом месте?!

И Антара ответил:

-- Слушай и запоминай слова мои!

После чего возопил гласом громким, душу потрясающим и нанизывающим сердце на острый вертел:

-- Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:

Разящий, он в битве незаменим, он -- радость для смельчака.

Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,

И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.

А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,

Волна переливов обманет глаза, будто смеясь в ответ.

Он -- тонок и длинен, изящен и строг; он -- гордость моих очей,

Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей...

Но тут Отца Воителей прервали самым бесстыдным образом.

-- Эй, уважаемый! -- вдвое громче певца заорал Абу-т-Тайиб, потрясенный таким вопиющим безобразием, от которого волосы на теле вставали дыбом.-- Да-да, ты, эфиопская твоя мать! Что это ты распеваешь, я тебя спрашиваю?! Это же не твоя муаллака, это моя касыда! Наловчились, понимаешь, чужим языком похлебку плямкать; мало того -- еще и померли во тьме язычества, так и не узнав истинной веры, а туда же...

-- А ты, собственно, кто такой будешь? -- без особого интереса осведомилась Отец Воителей и Скитающийся Царь.

-- Я?! Я кто такой?! Это вы кто такие, похитители чужих бейтов?!

-- Ты его знаешь? -- обратился Имр-уль-Кайс к Антаре Абу-ль-Фаварису, как если бы они были наедине.

Чернокожий отрицательно покачал головой: впервые, мол, вижу наглеца!

И тут Абу-т-Тайиб не выдержал...

* * *

-- ...Просыпайся, владыка, у нас гости!

Знакомый голос весело звенит над ухом, хургский акцент отзывается секирной сталью -- и поэт не сразу понимает: где он, и что с ним? Ведь минутой раньше они со славным Антарой Абу-ль-Фаварисом и Скитающимся Царем, помирившись и исполнившись вдохновения, вели изысканный поэтический диспут, приговорив на троих кувшин запретного вина, затем баловались иджазой -- поэтическим состязанием, где следует по очереди импровизировать строку за строкой на заданную тему; а после весело рубили каких-то наглецов, осмелившихся помешать беседе трех поэтов и требовавших от златоустов облобызать копыта вонючего барана...

Сон?!

Увы, всего лишь сон, воплощение самой заветной из грез; видимо, поэтому, открыв глаза, Абу-т-Тайиб еще долго путался в домыслах: проснулся он уже, или виденье продолжается, лишь непредсказуемо изменив свои очертания?

Вокруг стенами злополучного ущелья нависали серые, пегие, рыжие утесы, сплошь поросшие мхом, шерстяным лишайником, космами и колтунами; проморгавшись, удалось обнаружить на

вершинах утесов жутковатого вида скалы-головы, не то чтобы совсем нечеловеческие, но...

“Дэвы!” -- дошло наконец до поэта.

И вот как раз в проклятый Аллахом момент просветления, когда она мысль озарила разум Абу-т-Тайиба, окончательно изгоняя остатки сна, кто-то растолкал в стороны утесы дэвьячих тел -- и перед поэтом возник сияющий Худайбег аль-Ширвани собственной персоной.

Поэту показалось, что могучий юз-баши за время отсутствия заматерел окончательно, надбровные дуги еще больше выперли вперед, лоб навис над переносицей сторожевой башней -- хотя времени-то прошло всего-ничего! Но перед ним, вне всякого сомнения, был Дэв, причем довольный, как блудливый кобель после случки!

-- С добрым утречком, твое шахское! Ты эта... извиняй, что я пропал пропадом! -- Дэв виновато потупился, и обеими лапами стал рьяно чесать шерсть на груди.-- Зато теперь нам до этой твоей... Маздай-Дыра, да? Или как ее? (Дэв за все время пути так ни разу и не смог произнести правильно слово “Мазандеран”). В общем, тут рядышком! Парни отведут!

И Худайбег гордо кивнул на столпившихся вокруг дэвов.

А парни закивали кошмарными головами: все, мол, верно, отведем!

-- Это ты уродов привел? -- осведомился поэт, тщетно пытаясь собрать разбегающуюся отару мыслей.-- Зачем?

-- Ну... привел дикханин чауша, а тот его когтем за задницу... они и сами шли! Говорят, мол, к шаху хотим! -- нашелся наконец Худайбег.-- Любим, мол, ихнее шахское, но странною любовью! Шах -- хорошо!

-- Ясное дело, хорошо! -- буркнул Абу-т-Тайиб, поднимаясь на ноги и с недоверием оглядывая толпу великанов.-- Особенно когда жареный шах, на вертеле. Или тушеный, в подливке из фиников с черемшой.

В мозгу так и вертелось пьяным бредом: валуны размером с коня, бойня, гибель бедуинов...

-- Зачем обижаешь, твое шахское?! -- возмутился юз-баши, от огорчения вырывая пряди волос и осыпая ими повинную голову.-- Зачем такое говоришь, а?! Парни тебя любят! Все! Живьем любят! Как я!

Дэвы, которые явно прислушивались к разговору, опять согласно закивали: все, мол, верно, любим, как он! -- и один из гигантов даже робко дотронулся до шаха пальцем, словно проверяя: настоящий ли? не поддельный?! Но тут же, вместо того, чтоб и на зуб попробовать, боязливо отдернул руку-бревно -- словно боясь ожога.

Проклятье! -- неужели фарр и у дэвов душу выворачивает?!

Стоило тогда бежать за семь фарсангов машушу хлебать...

Замерев рядом в почетном карауле, Утба настороженно рыскал взглядом по сторонам, не выпуская из рук свою любимую секиру. Зато Гургин был совершенно спокоен, всем своим видом показывая: “Все самое плохое, что могло случиться, уже случилось, мой повелитель! Так о чем теперь беспокоиться?!”

-- А-а-а-а!!! Мой, мой фарр! Отдай, плут!

Сперва прозвучал вопль: ни дать ни взять, коту хвост подошвой сапога оттоптали.

Затем откуда-то из-под ног дэвов ужом вынырнул носатый карлик, облаченный в засаленную, но несомненно дорогую, кабу -- синюю с золотым шитьем; кроме кабы, на карлике были драные шаровары, цветастый тюрбан и остроносые кауши, в которых не по горам -- по собственной спальне перед женами расхаживать!

При ближайшем рассмотрении карлик оказался отнюдь не карликом, а вполне обычным (касательно размеров) мужчиной; это если сравнивать не с тупыми исполинами, а с Абу-т-Тайибом, которого сей горлопан был ниже всего на полголовы!

Что же касается поведения, то тут обычным дэвячьего шута назвать было никак нельзя.

Язык не поворачивался.

-- Фарр! Мой фарр! Вор! Держи вора! -- Лунным Зайцем запрыгал “карлик” вокруг поэта, не подходя, однако, слишком близко.

Юродивый, что ли? -- покосился на него Абу-т-Тайиб.

И решил пока не отвечать на странные выходки повредившегося умом незнакомца.

-- Кто этот Аллахом обиженный? -- вполголоса поинтересовался он у Худайбега.

Юз-баши лишь пожал плечищами: мол, живет здесь, в этой самой Манзан-Дурак, а кто такой -- откуда мне знать?

Впрочем, ответ прозвучал.

Ответ внятный, доступный всякому, знакомому с человеческой речью; если только не принимать в расчет, что голос хирбеда Гургина звенел от напряжения и был готов в любой момент лопнуть.

-- Это Кей-Кобад, мой повелитель,-- сказал маг.-- Это бывший шах Кабира.

2

Поначалу Абу-т-Тайибу показалось, что он ослышался.

Или Гургин свихнулся, устав от злоключений и потрясений.

Или...

-- Я -- Кей-Кобад! -- гордо подтвердил носатый “карлик”, выпятив грудь и снизу вверх, но в некотором смысле свысока оглядывая своих чудовищных приятелей.-- Я не бывший! Я -- шах! Вот мой фарр! -- и он указал на Абу-т-Тайиба обличающим жестом; так купец указывает городскому судье на воришку, который стянул с прилавка отрез шелка на глазах у дюжины свидетелей.-- Вор! Ты его украл! Верни немедленно! Мы повелеваем!

И тут поэт захохотал. Захохотал так, что веселому Утбе впору было позавидовать; он смеялся,

утирая выступившие на глазах слезы, сотрясаясь всем телом, сгибаясь пополам и сладко похрюкивая, подобно нечистому животному свинье.

-- Да забирай, забирай его к шайтановой матери! -- с трудом пробилось сквозь смех.-- Забирай! Если знаешь, как,-- поэт мгновенно стал серьезным,-- бери! Я отдам, мне не жалко! Бери! Ну?!

-- Кей-Кобад знает! Знает! Он возьмет! -- в руке отставного шаха серебряной рыбкой объявился острый кинжал.-- Возьмет!

Юродивый шагнул ближе, Утба угрожающе поднял секиру, готовясь рубить без пощады -- и вдруг тот, кто называл себя Кей-Кобадом, разом переменялся в лице. На нем отразился детский, насмерть обиженный страх; человек попятился, заслоняясь рукой, будто от нестерпимого сияния тысячи солнц, и едва не выколол себе кинжалом глаз.

Но смотрел он при этом не на поэта и не на Утбу, а на что-то, находившееся позади них.

-- Не надо! Не надо-о-о!!! Уберите... уберите его от меня! Не хочу!

Старый трюк.

У “детей Сасана” на такое не ловились даже сопливые плутишки.

И, тем не менее, даже не потому, что рядом стоял верный хург, а сам плохо соображая -- зачем он это делает, Абу-т-Тайиб обернулся.

Глянув туда, куда указывал “карлик”.

И увидел одного, хорошо знакомого поэту барана. С блестящим руном -- и однозначно вызолоченными (или действительно золотыми?) рогами. Баран в грозном нетерпении бил раздвоенным копытом о камень, воинственно пригибал лобастую голову -- и всячески демонстрировал намерение броситься на юродивого.

-- А ну, прекрати мне это! -- рявкнул поэт на наглого барана, понимая, что выглядит сейчас ничуть не лучше юродивого с кинжалом.

Баран скосился на Абу-т-Тайиба налитым кровью глазом, упрямо мотнул башкой и проблеял

кучу бараньих возражений, явно не соглашаясь с шахским мнением.

-- А вот я тебя сейчас на сикбадж пущу!-- озлился поэт и потянул из ножен ятаган.-- Эй, Утба, у нас там уксуса нет? -- а то я баранинкой разжился!

Подобный оборот дела пришелся барану не по вкусу, и он, обиженно тряся курдюком, поспешил скрыться в ближайшей расщелине. Только тогда поэт обернулся к предполагаемому Кей-Кобаду -- но “карлик” тоже успел за это время ретироваться и прятался, по-видимому, за надежной крепостью дэвьих спин.

-- Ну что, твое шахское, собираемся? -- как ни в чем не бывало поинтересовался Худайбег.

Поэт взглянул на мага, уже справившегося с первым потрясением; но Гургин только вскинул острый подбородок. Мол, не хирбедово дело: шахам указывать, куда им ходить, а куда -- нет.

-- Нахид там? У твоих парней?!

-- У них, родимых, твое шахское! -- Худайбег радостно заулыбался, совсем войдя в роль “пятнадцатилетнего курбаши”. Талант у парня, дар Божий -- сперва душегубами заведовал, теперь чудищами горными... кто на очереди?

-- Этот человек -- действительно Кей-Кобад, мой... э-э-э... мой предшественник? -- Абу-т-Тайиб подошел к Гургину вплотную.

-- Правота моего шаха неоспорима! Да, это он, о владыка, это он...

-- ...который безвременно скончался почти год назад в возрасте ста семидесяти девяти лет? -- с явной издевкой закончил Абу-т-Тайиб.

-- Воистину, скончался. Хотя сам я лично не присутствовал при его смерти,-- чуть замявшись, ответил старец.-- Но свидетелей и очевидцев было больше, чем достаточно, и у гробницы Кей-Кобада по сей день служатся поминальные молебны!

-- Значит, лично не присутствовал? Ладно, старый хитрец, об этом у нас с тобой разговор еще будет -- и очень скоро. А пока... Худайбег!

Звать юз-баши Дэвом при его “парнях” было как-то... неприлично, что ли?

-- Здесь я, твое шахское! -- преданно рявкнул Худайбег, отчего у Абу-т-Тайиба мигом заложило уши.

Будто опять по ущелью шел.

-- Мы отправляемся в Мазандаран. Говоришь, тут недалеко?

-- Рукой подать, твое шахское! Меньше, чем за полдня дойдем.

-- Вот и славно. Тогда распорядись, чтоб они,-- поэт хозяйски указал на дэвов, и те слаженно закивали, задвигали жуткими головами,-- взяли часть нашей поклажи. А то лошадей у нас теперь на две меньше...

-- Есть, твое шахское! -- и Дэв принялся рьяно отдавать распоряжения. А обросшие шерстью утесы его не только понимали, но даже слушались!

Е рабб, путь в Мазандеран оказался изрядно веселее, чем предполагалось вначале...

Из-за скал доносилось бляенье -- там возмущался жизнью Златой Овен.

Но на глаза не показывался.

Что с него возьмешь -- скотина!

3

Где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану;
где задумчиво и странно -- там пути к Мазандерану,

где забыт аят Корана, где глумится вой бурана,
где кричат седые враны -- там пути к Мазандерану.

Где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану,
плачут джинны непрестанно -- там пути к Мазандерану,

где скала взамен айвана, и шакал взамен дивана,
где погибель пахлавану -- там пути к Мазандерану.

Где вы, сильные? Пора нам в путь по городам и странам,
где сшибаются ветра на перекрестке возле храма,

где большим, как слон, варанам в воздухе пустыни прыном
мнится пиршество заране; где в седло наездник прынет,

и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана,
и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране!

* * *

Как вскоре выяснилось, косматым носильщикам придется тащить ВСЮ поклажу путников -- лошадям, уцелевшим после нападения Красной Дэвицы, дэвы уже успели благополучно свернуть шею, посчитав животных своей законной добычей. Абу-т-Тайиб долго цокал языком, глядя на болтающиеся тряпками конские головы: этакой силище да иное бы применение!

-- Зачем они это сделали, Худайбег? -- тихо спросил поэт.-- Лошадей не любят?

-- Добытчики! -- Худайбег многозначительно возвел очи горе, словно это должно было все

объяснить.

И поэт не стал спорить: добытчики так добытчики.

Однако, сделанного не воротишь, а коней не оживишь -- так что по-любому пора было двигаться в путь. Поклажу и конские туши дэвы распределили между собой, после чего Худайбег всем и каждому строго наказал: в сторону не отходить и ничего дорогой не терять.

А то ихнее шахское шибко осерчает.

Дэвы слушали, кивали -- и все норовили протолкаться поближе к поэту: прикоснуться легонечко, поглазеть, просто стать рядом столбом и замереть блаженно. Причин к беспокойству не имелось: интерес дэвов был явно не кулинарный, а, наоборот, самый что ни на есть почтительный и благожелательный.

“В меду я извалялся, что ли, что они ко мне, как мухи, липнут? -- дивился Абу-т-Тайиб, шагая в середине растянувшейся по горной тропе вереницы дэвов (а было их тут десятка полтора) рядом с Утбой и Гургином.-- Е рабб, если и извалялся, то уж никак не в меду... мухи тоже не на один мед слетаются!”

Предполагаемый Кей-Кобад больше на глаза не показывался; прятался где-то среди дэвов, которые, судя по всему, считали юрода за своего.

Когда мир вокруг МИГНУЛ, Абу-т-Тайиб невольно вздрогнул. Вспомнилась нервная дрожь бытия на перевале близ пещеры Испытания -- повторение? совпадение? видение? Может быть, сейчас они снова попадут в окрестности Медного города?

...где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану;
где задумчиво и странно -- там пути к Мазандерану...

Они шли по селению. Брошенному? Временно оставленному? Какому?! Аккуратно сложенные

один на другой большие плоские камни, поддерживаемые большими плоскими досками. И те, и другие -- серые. Здесь так живут. Невысокие загоны из жердей для злобных мохнатых коз, привезенных неведь откуда,-- загоны на крохотных, отвоеванных у скал участках. Загоны, похожие на дома, и дома, похожие на пещеры; несмотря на поросшие мхом крыши, несмотря на собранные из каких-то фантастических обломков дерева двери, и большая часть дверей не заперта и скрипит, покачиваясь на ветру.

Камень, скука и запустение. Царство камня. В городе тоже камень, но -- обтесанный, отшлифованный, приглаженный, с узорами и орнаментами. Здесь же камень дикий, непричесанный, подобный окружающим скалам, и поэтому дома выглядят порождением гор, своим, родным; неказистые с виду, они прочны и способны противостоять не только зимним ветрам, но и нередким землетрясениям. Дома вросли в скалы, и горы приняли их вместе с людьми, живущими под приземистыми заросшими крышами...

А где люди?

Почувствовав замешательство шаха, головной дэв обернулся и, с явственным скрипом двигая огромными челюстями, проскрежетал:

-- Муаз-Тай-Ра!

И обвел лапой окружающие горы: будто странное слово, сделанное из жести и кашля, родной брат дурацкого словечка “Мазандеран”, все объясняло.

Абу-т-Тайиб кивнул в ответ и стал глазеть по сторонам.

Дескать, нас на мякине не проведешь!

Горы вокруг были вроде прежние -- и в то же время другие. Осыпающиеся под действием воды, ветра и времени, источенные и выеденные неведомыми камнеточцами, эти хребты дышали терпким ароматом древности, а дальние вершины, увенчанные снеговыми тюрбанами, терялись в туманной дымке.

-- Сафед-Кух, Белые горы, -- пробормотал поэт себе под нос, припомнив очень похожие вершины, виденные им в Хуросоне.

Они шли дальше.

...где забыт аят Корана, где глумится вой бурана,
где кричат седые враны -- там пути к Мазандерану...

Тропа неспешно извивалась меж выветренных скал, и иногда в просветах открывались близкие пески -- прибежище наглой смерти и робкой жизни. Ветер уныло лизал барханы, оплавляя их желтыми сыпучими струйками, ветер грустно посвистывал в сухих ветвях колючника, как делал это уже многие тысячи лет -- пустыня, что с нее возьмешь? Все та же монотонная песня, те же пологие барханы -- нет, не те, конечно, но такие же... И неровная цепочка волчьих следов, быстро заносимая песком. Сколько их, эфемерных следов жизни, засыпал ветер на своем однообразно-бесконечном веку? Считай не считай -- собьешься... Да и не только следы, а зачастую и иссушенное солнцем тело со стекленеющими глазами, в завершение цепочки зыбких ямок -- ветер давно привык к этому и равнодушно скользил мимо.

Пустыня...

Абу-т-Тайиб пригляделся в смятении -- и ему показалось, что он различает крупного волка с притороченным к спине вьюком, бредущего из последних сил по раскаленной солнцем сковороде. Возможно, это был обман зрения, мираж, каких поэт в свое время немало насмотрелся в Аравии, а может... Впрочем, после событий этих безумных месяцев, Абу-т-Тайиб устал чему-либо удивляться.

Он просто мысленно пожелал волку удачи, будь вольный зверь марой или явью, и двинулся дальше.

...где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану,
плачут джинны непрестанно -- там пути к Мазандерану,

Когда мир мигнул снова, Абу-т-Тайиб моргнул в ответ. Ему явственно почудились крылатые тени стальных птиц ада, расплескавшие синь над головой; но это уж точно были миражи -- мелькнули и исчезли, даже разглядеть толком ничего не удалось!

А горы тем временем сами собой сошли на нет (хотя еще минутой раньше конца-краю им не было видно!) -- и вскоре под ногами путников оказалась сперва каменистая, а затем обычная, старая знакомая-пустыня.

Вереница дэвов уверенно топала вперед, оставляя за собой бесформенные вмятины следов, и в тот момент, когда поэту в очередной раз стало мерещиться, будто он начинает узнавать места -- те самые, где вчера бился с гигантами чернокожий Антара и его люди...

Абу-т-Тайиб остановился, как вкопанный; и все последовали примеру шаха.

У самой подошвы очередного бархана из-под песка выглядывала чья-то нога. Куфийский сапог, еще сохранивший приметы бывшего щегольства бывшего хозяина: шагреновая кожа, высокий и тонкий каблук с внутренним изгибом, носок тоже загнут, но наружу, и кисточки слабо шевелятся по краю голенища.

Поэт свернул с пути, протоптанного идущими впереди дэвами, и решительно направился к бархану-мавзолею.

Некоторое время он стоял и молча смотрел.

Потом обернулся к сгрудившимся за спиной исполинам.

-- Копайте!

Он был уверен, что его послушаются.

Так и случилось.

Человек -- вернее, оставшаяся от него мумия -- неплохо сохранился. Фаланги пальцев, покрытые серым шелушащимся пергаментом, все еще сжимали кривой машрафийский меч, синюю сталь, за которую платят блюдами динаров оружейникам Йемена; на лице застыла жуткая усмешка, предсмертный оскал, обнажая гнилые пеньки зубов, часть из которых покойник потерял еще при жизни.

Судя по всему, человек лежал в песчаной могиле уже давно. Ну и пусть спит дальше. Недостойно правоверного глумиться над останками.

А в данном случае -- недостойно вдвойне.

-- Заройте его обратно,-- бросил поэт, и, пока дэвы усердно трудились, заново погребая мертвеца, едва слышно шептал слова молитвы.

-- Кто это был? -- решил нарушить скорбное молчание Гургин, когда они наконец продолжили путь.-- Кто это был, мой шах? Знакомый? Друг? Земляк?

-- Я,-- просто ответил Абу-т-Тайиб.

И зашагал быстрее.

...где бессильны все старанья на пороге умиранья,
и последней филигранью отзовется мир за гранью;

где скала взамен айвана, и шакал взамен дивана,
где погибель пахлавану -- там пути к Мазандерану.

Как и обещал Дэв, они шли путями неисповедимыми, пока солнце не перевалило за полдень. Впрочем, Абу-т-Тайиб теперь ни в чем не был уверен -- ни во времени суток, ни в солнце, мерявшем горбатый небосвод заячьей скидкой, подло нарушая заведенный Аллахом порядок. Да что там

солнце, время, минуты и часы?! -- пожалуй, сейчас поэт вообще затруднился бы ответить, какой ныне стоит на дворе век от бегства пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!). И на каком дворе? Кабирском? Дар-ас-Саламском? Медногородском? Мазандеранском? Или еще каком...

После встречи с собственным трупом, мирно спавшим в песках пустыни, что-то сдвинулось в голове поэта, и он сомневался во всем на свете -- одновременно будучи готовым поверить во что угодно. Что он находится в раю. Или в аду. Или в стране джиннов. Или перенесся в эпоху легендарной джахилии.

Я никогда не рождался?!

Верю.

За время их дальнейшего пути соринка еще дважды или трижды попадала в глаз миру -- Абу-т-Тайиб уже перестал обращать внимание на подобные мелочи. Пустыня вновь сменилась горами, и дэвы вдруг забеспокоились, с опаской зыркая по сторонам. Вскоре из-под очередной каменной осыпи наполовину выглянул обглоданный костяк странной твари; судя по толщине костей и плоскому черепу с вызывающими уважение клыками, а также по сохранившимся кое-где остаткам чешуи, опасения великанов были небезосновательны. При встрече с обладателем такого черепа могло не поздоровиться и дэву! Так что, когда мир благожелательно мигнул снова, и дэвы успокоились, Абу-т-Тайиб облегченно вздохнул вместе со всеми.

За лаврами драконоборца он отнюдь не гнался.

Потом справа открылась степь, бескрайняя степь хургов, или не хургов, но там паслись честные кони и возле юрт курились честные костры; а еще одинокий всадник несся по одуревшей от полуденного зноя степи. Белый растрепанный хвост мотался из стороны в сторону, привязанный под наконечником его короткого копья с красным древком; лицо под высоким чешуйчатым шлемом окаменело в безразличии ко всему, кроме бьющейся под копытами земли; и бурая пыль степей, зловещая пыль дурного вестника, некоторое время еще гналась за распластанным конем, и, не

догнав, покорно опускалась, оседала, растворялась в потревоженном покое...

Где вы, сильные? Пора нам в путь по городам и странам,
где шибаются ветра на перекрестке возле храма,

где большим, как слон, варанам в воздухе пустыни пряном
мнится пиршество заране; где в седло наездник прянет...

А потом они пришли!

Вот еще недавно все двигались по дну очередного ущелья, бока теснины скрыли от взоров и степь, и пустыню -- или что там сейчас лежало у подножья этих бесконечно меняющихся гор?! -- и вдруг перед ними гостеприимными створками дверей-скал распаивается обширная котловина, по дну которой весело журчит речушка-подросток.

Отвесные стены, окружавшие котловину, были изрезаны грубо вырубленными в скалах каменными ступенями. А выше темнели десятки и сотни темных нор, напоминавших ласточкины гнезда. И до поэта не сразу дошло: это расстояние морочит ему голову, играя злую шутку.

Ласточкины гнезда?! Входы в пещеры имели от двух до пяти человеческих ростов в поперечнике!

Жилища дэвов.

Пещерный город.

Легендарный Мазандеран.

...и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана,
и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране!

-- А вот и эта самая Дыра, твое шахское! -- радостно сообщил верный Дэв, возникая рядом.--
Видал, сколько их тут -- дыр-то этих?!

КАСЫДА ПРИЗРАКОВ

Ветер в кронах заплакал, берег темен и пуст.
Поднимается якорь, продолжается путь.

И бродягою прежним, волн хозяин и раб,
К мысу Доброй Надежды ты ведешь свой корабль --

Где разрушены стены и основы основ,
Где в ночи бродят тени неродившихся слов,

Где роптанье прибоя и морская вода
Оправдают любого, кто попросит суда.

Где забытые руки всколыхнут седину,
Где забытые звуки огласят тишину,

Где бессмыслица жизни вдруг покажется сном,
Где на собственной тризне ты упьешься вином,

Где раскатится смехом потрясенная даль,
Где раскатится эхом еле слышное “Да...”

Но гулякой беспутным из ночной немоты,
Смят прозрением смутным, не откликнешься ты --

Где-то, призраком бледным, в черноте воронья,
Умирает последней безнадежность твоя.

Глава четвертая,
где шаха приветствуют дэвы во всем своем разнообразии;
а также выясняется, сколько может собратся шахов
в одном отдельно взятом Мазандеране,--
но ни словом не упоминается о том,
почему одни дэвы похожи на людей, а другие -- на чудовищ,
и можно ли вернуть последним человеческий облик?

1

...Протяжный, оглушительный, душераздирающий и еще шайтан знает какой вопль огласил котловину. Поначалу Абу-т-Тайиб невольно вжал голову в плечи. Однако, видя, что сопровождающие его дэвы обращают на вопль меньше внимания, чем змея -- на шорох собственной чешуи, поэт тоже

успокоился.

И стал оглядываться по сторонам в поисках источника жуткого звука.

Не ангел ли Израфилъ трубит?!

-- Дэв Вайдос с вершины древа кличет,-- пояснил Худайбег-благодетель, когда слух наконец вернулся к поэту, и бархатные затычки в ушах рассосались сами собой.-- Вайдосит, значит. Это у них всегда так, твое шахское! Когда народишко... ну, дэвов, значит, собрать надо... Залазит и орет. Вот.

-- И когда ты все это узнать успел, проныра? -- поинтересовался Абу-т-Тайиб.

К этому моменту он как раз углядел столетнюю чинару у распадка. В ветвях дерева действительно устроился какой-то дэв, и теперь черной тушей ворочался в гнезде, явно прикидывая: не “завайдосить” ли снова?

-- Так ведь месяц, почитай, у них проторчал-то, твое шахское! -- заморгал голубыми глазищами верный юз-баши; и поэт не стал с ним спорить.

Даже переспрашивать не стал: здесь явно могло твориться все, что угодно! Мигающий мир, неведомые страны, свихнувшиеся дни-оборотни, так и норозящие прикинуться месяцами, собственный труп под барханом...

А тем временем из пещер уже выбирались сутулые неуклюжие фигуры и вразвалочку брели навстречу гостям. Впереди неслось десятка два детей: на удивление, обычных, человеческих малышей, ничем не напоминающих взрослых чудищ.

Дэв-на-вершине-древа подумал, хрипло прочистил глотку -- и не стал вопить во второй раз. Зачем? -- все и без того были в сборе.

Как и следовало ожидать, дети добежали первыми. Запрыгали козлятами вокруг Абу-т-Тайиба, словно рядом не было ни Утбы, ни Гургина, а дэвов-добытчиков и подавно!

-- Твоя -- шах? -- серьезно поинтересовался вислощекий карапуз лет пяти, больно ткнув пальцем в живот Абу-т-Тайибу.

-- Моя шах,-- развел руками поэт.

-- Второй шах, второй шах! -- радостно загалдела детвора, а карапуз почему-то насупился и стал ковыряться в носу.

-- Старый Олмун-дэв говорил: так не бывает! Шах должен быть один! -- заявила вдруг худенькая девушка постарше, лет тринадцати, затесавшаяся в толпу детей.

Девушка как девушка -- угловатая, подобно многим подросткам, длинные черные косы свисают ниже пояса, родинка на скуле, и голубые глаза чуть ли не светятся со смуглого личика... Поэт долго смотрел на девушку, недоумевая: зачем он это делает? Почему взгляд упрямо и бесстыже ощупывает хрупкую фигурку?!

Что ищет?

А потом он понял, понял резко и сразу: обнаженные руки и босые ноги девушки покрывала шерсть.

Золотисто-коричневый мех; короткий, словно подстриженный.

Это было по-своему даже красиво, но красиво не по-человечески!

-- Так я один и есть,-- попытался улыбнуться мохнатой девушке Абу-т-Тайиб.

Улыбка вышла кислой.

-- А Кей-Кобад? -- брови обладательницы золотистой шерстки двумя голубками взмыли на лоб.

-- А он светится! -- уверенно сообщил карапуз, вынув палец из носа.-- Он живая и светится!

После чего снова ткнул поэта в живот: словно железным штырем приложился.

-- Светится! Шах! Настоящая! На нас светится!

-- Старый Олмун-дэв говорил: настоящий шах светится. Кажется, я вижу!-- задумчиво проговорила девушка, вглядываясь в Абу-т-Тайиба едва ли не пристальной, чем за минуту до этого он сам вглядывался в нее.

И от ее испытующего взгляда поэту сразу сделалось неуютно.

Как раньше -- от присутствия Нахид.

Тем временем начали потихоньку подтягиваться и взрослые дэвы с дэвицами. Процессия замедлила ход, безнадежно увязая в толпе -- а обитатели Мазандерана все шли, ковыляя, бежали; и Абу-т-Тайиб, которого, казалось, уже невозможно было чем-либо поразить, не уставал дивиться тому, что видел вокруг.

Дэвы-добытчики, старые знакомцы, были словно с одной формы леплены: кряжистые исполины, раза в два выше обычного человека, и бугры мышц страшно выпирали на их мохнатых телах, иногда в самых неожиданных местах.

Но, так или иначе, они были похожи друг на друга.

Здесь же... Здесь, в Мазандеране, дэвы были разными. И “разные” -- еще очень мягкое словцо! У кого-то, как сказала однажды сгоряча первая жена Абу-т-Тайиба, было “семь пядей во лбу, и пяди эти загибались бараньими рогами”; да-да, именно рогами, самыми настоящими, так что впору было уверовать: перед тобой шайтан из шайтанов! Или родной дядя Златого Овна. Зато дружки рогача, ростом ему по плечо, были при этом настолько массивны, что иной слон гляделся рядом с ними изящной лебедушкой. Иные мазандеранцы щеголяли розовыми крысиными хвостами, суставчатыми ногами, напоминающими лапы саранчи; а у трех-четырех имелись зачатки кожистых крыльев. У одного дэва из задних рядов крылья оказались вполне развиты, и он все время подпрыгивал, желая получше рассмотреть гостей, с треском распахивал свое сокровище и зависал над толпой, гнусаво каркая. А вскоре вперед протолкался дэв-горбун, чья шелушащаяся кожа настолько походила на чешую, что поэт заподозрил родство горбуна с давешним драконом, чей костяк они видели по дороге.

Грудастые дэвицы приветливо скалили желтые клыки, растягивали до ушей жабы рты, махали шаху лапами (кто -- когтистыми, кто -- с перепонками), шушукались между собой, масляно подмигивая. Дэвы-самцы одобрительно ворчали, стараясь протолкаться поближе; и в то же время

они вели себя осторожней лекаря у ложа опасно больного -- как бы ненароком не зашибить гостя, не обидеть, не покалечить...

“Е рабб, это же дети! Взрослые дети!” -- пришло на ум Абу-т-Тайибу.

К немалому изумлению поэта, среди толпы разномастных чудищ попадались и обычные сыны Адама. Впрочем, у Абу-т-Тайиба не было времени как следует рассмотреть их -- а ведь та девушка с первого взгляда тоже выглядела вполне...

Толпа возбужденно гудела, но общий хор звучал искренней радостью, неподдельным, доброжелательным восторгом, что никак не вязалось с обликом страхолюдин.

Наконец дэвы расступились, и вперед вышел плечистый старик, запорошенный снегом седины с головы до ног -- поскольку он-то мохнат был невероятно, и даже шерсть на животе заплетал в щегольские косички.

Зато одежду не носил по вполне понятным причинам; опирался же мохнач на клюку, способную затмить славу Худайбегова “копьеца”.

“Наверное, это и есть “старый Олмун-дэв”,” -- догадался Абу-т-Тайиб.

Сотни пар голубых глаз уперлись в седого дэва -- и он заговорил. Вполне членораздельно, хотя и с определенным усилением:

-- Ты -- наш гость, шах. Тебе здесь будет хорошо. Живи с нами -- и нам тоже будет хорошо. Сейчас тебе покажут жильё -- самое лучшее. Дворец.

В толпе дэвов произошло некое движение, и перед Олмун-дэвом возник давешний “карлик” -- всклокоченный, с безумными глазами, брызжущий слюной.

-- Лучшее жильё -- мое! Мое!!! Дворец -- мой! И еда! И женщины! И фарр -- это мой фарр! Он его украл! Вор! Вор!!! Скажите ему, чтоб отдал! Я, я шах, а не он! Великий шах Кей-Кобад! Я! Я!

Седой дэв спокойно ждал, пока Кей-Кобад умолкнет, сорвав голос. Что и случилось в самом скором времени; после чего Олмун отстранил “карлика” и заговорил снова, роняя тяжелые, веские

камни слов -- словно приговор оглашал.

Впрочем, так оно и было.

-- Шах должен быть один. У него -- фARR. Я вижу. Он -- шах. Ты -- теперь нет. Тебе дадут пещеру. Еду. И женщину -- одну. Дворец для шаха, гарем для шаха. Для настоящего. Все. Так будет.

-- Спасибо за гостеприимство! -- криво усмехнулся Абу-т-Тайиб.-- Ну что ж, показывайте ваш дворец.

Поэту было тошно. Отобрать последнюю радость у несчастного безумца, чей фARR и трон ты уже присвоил -- пусть даже не по своей воле? Променять дворец в Кабире на дворец в Мазандеране? Что ж, сам виноват! Ты хотел разобраться -- давай, вороши тайны, и не жалуйся, если среди облезлых шкур прошлого окажутся блохи или сонный скорпион!

И, оглохнув от приветственных кликов, сквозь которые визгливо прорывалось изредка: “Вор! Он украл мой фARR! Мой дворец! Мой...”, Абу-т-Тайиб последовал за Олмун-дэвом, ковылявшим впереди.

Пещерный город приближался.

2

...Абу-т-Тайиб шагнул под шершавые своды “дворца”, освещенные рваным пламенем факелов -- и не сумел сдержать улыбки: понятия о роскоши у дэвов были весьма своеобразные.

Пол, как и положено в покоях любого уважающего себя дворца, устлала ковры. Самые разнообразные. Самые пестрые. Самые... самые. С орнаментами и без. С рисунками и чудными узорами. Вперемежку с циновками и одеялами -- лишь бы поярче! И уложено все это добро было, по меньшей мере, в четыре-пять слоев; зато уж тут дэвы постарались -- хоть краешек каждого, а все равно был виден.

Вот, мол, сколько у нас ковров -- как песка в пустыне!

Одно слово: навалом!

Из-за этого пол шел волнами, и ходить по нему было весьма затруднительно, а про “важно шествовать” вообще речи не шло; Абу-т-Тайиб спотыкался чуть ли не на каждом шагу.

На стенах, в зажимах из меди и бронзы (полосы металла, причудливо покореженные лапами мазандеранцев) чадил сотня факелов. Жирная копоть оседала на потолке, на сосульках сталактитов, а также на подвешенных к ним разнообразнейших предметах: курильницах, кальянах (четыре штуки, и все испорченные), женских подвесках, фонариках из крашеной бумаги и прочей дребедени, зачастую совершенно неизвестного поэту назначения и происхождения.

За поворотом пещеры обнаружился балдахин из нежно-розового атласа. Наверняка похищенный из будуара знатной франкской дамы (довелось поэту ловить сладкие мгновенья и в таких местах). От балдахина вниз свисала плетеная штора, а по обе стороны ее застыли двое дэвов-близнецов в кожаных шароварах.

И с умопомрачительного вида железными палицами в руках.

При виде шаха дэвы -- близкие родичи кабирских Яджуджа и Маджуджа -- выкатили глаза, всем своим видом изображая немеряную преданность и почтение.

Абу-т-Тайиб хмыкнул, раздвинул штору, шагнул под балдахин...

И застыл на пороге соляным столбом.

-- Сим-Сим, закройся! -- только и сумел выговорить он.

Во-первых, посередине зала стоял трон. Огромный, блестящий, черный, как кожа дикого зинджа (похоже, из полированного базальта). Сиденье его, где свободно могли уместиться три Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, было застлано облезлой шкурой тигра. Вторая такая же шкура лежала у подножья трона. Сбоку к престолу жалась хромая тахта, словно ища покровительства, а дальше имелось обширное ложе с ворохом разнообразных мехов поверх него. Кругом же в живописном

беспорядке, играя красноватыми бликами от вездесущих факелов, валялись блюда, кувшины, чаши, кубки, большие и маленькие ларцы со шкатулками, светильники, груды одежд... сокровища, короче.

На ближайшей из таких груд красовалось золотое блюдо, а на блюде гордо сиял здоровенный сапог.

Один.

Подозрительно знакомый: с гнутым каблуком, с кисточками по голенищу... разве что обе ноги поэта свободно могли уместиться в этом сапоге, и еще осталось бы место для парочки пеналов.

Сапог, по-видимому, тоже должен был быть один; символизируя уникальность шаха.

За то время, пока Абу-т-Тайиб с нескрываемым интересом рассматривал свое новое обиталище, он обнаружил два-три задрапированных коврами юоковых прохода -- но решил исследовать их позже.

Умеренность и еще раз умеренность; если хотите жить долго и счастливо.

Через минуту он сидел на троне.

-- Твоя -- шах? -- спросил Абу-т-Тайиб сам себя.

И грустно ответил, ткнув пальцем в собственный живот:

-- Моя -- шах, будь моя трижды проклят! И светится...

Ожидаящий у входа Олмун-дэв закивал косматой головой.

* * *

Остаток дня поэт провел в трудах праведных.

Пужинал в обществе Гургина, Дэва и Утбы (лепешки местного изготовления и овечий желудок, фаршированный зеленью -- по всему видать, лучшее, что могли предложить им дэвы).

Распорядился, чтобы его спутников разместили во "дворце" -- места на всех хватило с избытком.

Отправил Худайбега подыскать сносное жилище для несчастного “карлика” -- Абу-т-Тайиб чувствовал себя изрядно виноватым перед бывшим шахом. Затем, с помощью Утбы и вернувшегося Худайбега (местных жителей привлекать не хотелось) навел хоть какую-то видимость порядка в “тронной зале”. Хотел было прогуляться по окрестностям на сон грядущий -- но, выбравшись из “дворца”, выяснил, что снаружи уже стемнело.

А внутри, внутри-то, едва Абу-т-Тайиб вернулся и совсем уж собрался завалиться спать...

3

-- Гарем шах!

Дэв-страж проснулся за полог, радостно объявил эту восхитительную новость -- и исчез раньше, чем Абу-т-Тайиб успел спохватиться и возгласить запрет.

Увы! -- в залу гурьбой, счастливо визжа, повалили девицы.

Вернее, дЭвицы!

Совершенно обалдев, Абу-т-Тайиб сидел на своем ложе дурак дураком, а перед ним колыхалось море волосатой плоти. Некоторые дэвицы были одеты в цветастое тряпье, долженствующее изображать обольстительные наряды; но большинство, кроме собственной шерсти и чудных украшений, одеждами пренебрегли. И с готовностью демонстрировали шаху свои прелести, заставляя Абу-т-Тайиба содрогаться от вида дэвичьих тел.

-- Повелитель выбирай! Мы -- танцуй, повелитель -- выбирай! -- тигриным басом проворковала одна из дэвиц, и добавила неясно к чему:

-- Шах и мат!

Тут же из-за полога невпопад громыхнул бубен, ему надтреснуто вторили струны расстроенного барбара -- и под эту дикую, первобытную мелодию дэвицы закружились вокруг поэта.

А у поэта в ответ не замедлила закружиться голова.

“Пусть дурна, пусть страшна, пусть сама сатана,-- если хватит вина, будет мужу жена!”
-- вспомнился Абу-т-Тайибу старинный бейт времен джахилии, когда дар лоз еще не был провозглашен запретным.

Сейчас поэт был готов удавить остроумного автора собственными руками. Ведь сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует!): “Женщина вам пашня, пашите ее как угодно!” Вот она, пашня, согласная на все -- паши ее как угодно, беспутный бродяга! Для того ли менял одну пашню на другую, для того ли уходил из Кабира, чтобы прийти в Мазандеран?! Чего же ты хочешь на самом деле, почему шарахаешься, когда тебе несут на блюде все блага мира, почему отшатываешься и вопиешь гласом громким:

-- Я возьму сам! Вы слышите -- са-а-ам!..

Бубен стучал все яростнее, сбивался, не поспевая за приятелем, барбар-семиструнка -- и великанши, одна за другой, припадали к стопам шаха, преданными собачьими глазами заглядывая ему в лицо снизу вверх: “Возьми меня! Неужели я тебе не нравлюсь?! А я?!”

И столько ожидания, столько надежды, столько страстной поволоки было в этих глазах, что всякий раз у Абу-т-Тайиба только и хватало силы, что отрицательно покачать головой. Он переводил взгляд на следующую красотку и молил Аллаха о малом: чтобы все это светопреставление поскорее закончилось, и утомившиеся дэвицы убрались восвояси. Е рабб, ну не делить же постель с одной из них! Они не виноваты в своем уродстве, они искренне хотят доставить ему удовольствие, но это же выше человеческих сил!..

“А как на моем месте поступал безумный Кей-Кобад?! -- вдруг обожгла шальная мысль.-- Неужто...”

Вот очередная дэвица с надеждой корчится у ног привередливого владыки, который ни в какую не желает “выбери”. Поэт собирается с духом -- и взгляд его вдруг проваливается в

бездонную синь глаз той, что когда-то звалась Нахид-хирбеди!

-- Нахид! Ты?

Абу-т-Тайиб отшатнулся, сжав виски ладонями: вот и добралась до него бывшая жрица! Тайно затесалась в гарем -- и теперь наконец сведет счеты с ненавистным бродягой, оскорбившим ее великим оскорблением!

Но Нахид медлит рвать и метать. С детской обидой она смотрит на него, моргает длинными ресницами -- последним, что осталось от прежнего облика, кроме цвета глаз. Мгновения тянутся и тянутся, обволакивая поэта вязкой патокой -- и он с ужасом видит: глаза расстриги-хирбеди полны любви.

До краев.

Ни капли былой злобы и ненависти, ни клочка звериной ярости -- ничего этого больше нет в двух голубых колодцах.

Нахид умерла. Навсегда. Узнала ли она его? Одному Аллаху ведомо! Но сейчас она явилась к нему за тем же, что и остальные -- чтобы шах взял ее на ночь!

Она хочет этого!

-- Нахид... ты... узнаешь меня? -- шепчет поэт, и слова текут через душу крутым кипятком.-
- Ты помнишь: "Только раз бывает праздник, только раз весна цветет... взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет..." Ты помнишь?

Поначалу на оплывшем, бездумном лице дэвицы не отражается ничего. А потом... Широкие вывороченные губы ползут в стороны, вдавленный нос морщится, у рта залегают складки... Нахид улыбалась! Повелитель заговорил с ней! Это хорошо! Это очень хорошо! Значит, она ему понравилась! Он хочет ее!

Та, что раньше звалась Нахид-хирбеди, протягивает косматую лапу и осторожно касается бедра владыки. Корявая ладонь ползет дальше...

-- Не-е-ет!

Ладонь в недоумении останавливается.

-- Нет, Нахид, не надо...-- стон рвет глотку, сердце, душу; расплавленным оловом течет по гортани, и боль от подлинного ожога кажется благословением Господним.-- О, теперь я понимаю: тогда, когда ты пришла просить за своего учителя, когда я издевался над тобой, заставил раздеться -- я ведь хотел тебя! Я мужчина, Нахид, я обычный мужчина, я хуже многих; но теперь... Прости меня, девочка -- я не могу. Не могу! Уходи! Убирайся вон!

Отчаянье расплескалось под сводами пещеры, дрогнул хлам, свисающий с потолка -- и только тут до существа, тупо глядевшего на безумного господина, дошло, что повелитель не хочет ее!

Глаза бывшей хирбеди мгновенно набухли слезами, и несчастная дэвица, вскочив, с обиженным воем бросилась к выходу.

А Абу-т-Тайиба несло половодье бессильного бунта.

-- Уходите! Уходите все! Оставьте меня в покое!

На мгновение все застыло, мелодия оборвалась, запоздало ударил бубен -- и тоже смолк в испуге.

А потом дэвицы, дружно вторя Нахид своими рыданиями, устремились прочь. Сейчас они больше всего походили на толпу насмерть обиженных детей, которых ни с того ни с сего наказал и прогнал сердитый отец.

-- Вы не виноваты... Вы хотели, как лучше. А я... Простите меня...-- глухо бормотал поэт, упав на ложе и зарывшись лицом в ворох пушистых шкур.

Он сам не заметил, как заснул.

Посреди ночи он проснулся от слабого движения рядом. Протянул ладонь, огладил теплую шерстку... То существо, что находилось вместе с ним под одним одеялом, немедленно придвинулось

с готовностью, так что поэт не замедлил ощутить маленькую упругую грудь, гибкие плети рук -- обычных, человеческих, тонких рук.

Девичьих рук.

Только покрытых шелковистой, приятной наощупь шерсткой.

Горячее тело приникло к нему, и дальше все получилось само собой... Он так и не понял: было это сном или очередной шуткой судьбы? Любовь выглядела нереальной, зыбкой сказкой, и даже сладость в конце оказалась спокойной и мягкой, без томных стонов или звериного рычания.

Тишина.

И покой.

...Но вот она приходит ниоткуда, и всем забытым переполнен кубок: любовь, дорога, море, паруса... Боясь шагнуть с привычного порога, ты перед ней стоишь, как перед Богом -- и все-таки не веришь в чудеса.

“Я сам,-- бормочешь ты сухими губами.-- Я... сам...”

* * *

Наутро рядом с поэтом никого не оказалось.

Вскоре принесли завтрак. Как выяснилось, принести заодно и воду для утреннего омовения дэвам в голову не пришло, а садиться за дастархан нечистым поэт не пожелал.

И отправился к ручью, не дожидаясь, пока дэвы догадаются исправить свою оплошность.

Студеные брызги мигом прогнали остатки сна вместе со всеми ночными призраками -- и поэту даже стало немного жаль, что это были всего лишь грезы.

Впрочем, думать так ему было спокойнее.

Он поднялся, намереваясь вернуться во “дворец”, позавтракать и приступить к осмотру места, куда забросила его Судьба...

Лицом к лицу столкнувшись с давешней девушкой-подростком.

“Старый Олмун-дэв говорил: настоящий шах светится. Кажется, я вижу...” Загадочный взгляд больших голубых глаз; угловатая фигурка; гладкая шерстка золотится на предплечьях...

-- Меня зовут Фарангис,-- она легко проскользнула мимо него и стала наполнять кувшин.

А он стоял и смотрел. На нее.

Фарангис.

Было?

Не было?

Глава пятая,

повествующая о времени и его кознях,
об искренности хирбедов и детских скороговорках,
но даже краешек завесы не приподнимается над тем,
что случилось с безумным владыкой в пещере Испытания.

1

Здесь было тихо и покойно; если не считать вечного смеха воды, с беспечностью ребенка кувыркающейся в теснине русла. Два кизилowych деревца прятали в кронах алые огоньки -- плодам еще не пришло время вдоволь налиться кисло-сладким соком; рядом с кизилом самозабвенно, ничего не оставляя на потом, чахоточной девицей цвела мушмула, и брезгливо косился на глупышку старый

войка-шиповник, крутя кукиши завязи.

Они противоречили друг другу: кизил, мушмула и шиповник -- противоречили лепестками и плодами, временем цветенья и временем зрелости, но что может быть непротиворечивым в Мазандеране, в Краю Дэвов, куда идешь соринкой в глазу мира, от уголка к уголку, сквозь непрерывное морганье -- пока не вылетишь наружу?!

“Вот где славно умереть, -- вдруг подумалось Абу-т-Тайибу, -- умереть и быть похороненным. И чтоб ветер осыпал на могилу пригоршни лепестков, а река смеялась... Е рабб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока!”

Относительно идеи ложиться в гроб немедленно у поэта имелись определенные сомнения. Ты ляжешь, черви дружно примутся за работу, а потом ангел Джибраиль с интересом выяснит в своде записей: вот он, покойничек-гулена, шляется невесть где и невесть с кем! Престолы задницей протирает, подданных смущает дурацкими выходками; джинны с дэвами в него пальцами тыкают, в красавца... О Аллах! -- имя первому адскому слою Джаханнам, и уготован он ослушникам из правоверных, умершим без покаяния; имя же второго слоя -- Лаза, и назначен он неверным; третий слой, аль-Джахим, погребает племена Яджуджей и Маджуджей, а также идолопоклонников страны Синдху; имя четвертого слоя ас-Сайр, и он открыт для почитателей Иблиса; пятый, Сакар, для еретиков-зиндиков; в шестом, в аль-Хутаме, взывают к своим заступникам люди Торы и люди Евангелия; в седьмом же, в аль-Хавии, стонут лицемеры!

А для вот таких бездельников, которых сперва изрядно носило по обитаемой четверти земного круга, а теперь носит по остальным трем четвертям, лицом к лицу сталкивая с собственными мумиями и чудищами-хирбеди -- для такого отребья какой слой ада назначен, о Совершеннейший Благотворитель?

Восьмой?

Двадцать восьмой?

Или нет нам ада, но нет и рая...

-- О, где мои тысяча огненных гор? -- забывшись, нараспев выкрикнул Абу-т-Тайиб.-- Где под каждой горой семьдесят тысяч огненных долин, а в каждой долине семьдесят тысяч огненных городов, а в каждом городе семьдесят тысяч огненных домов, а в каждом доме семьдесят тысяч огненных комнат, а в каждой комнате семьдесят тысяч огненных ложей, а на каждом ложе семьдесят тысяч способов пытки? Где вы? -- неужели здесь, во мне, и никуда не деться мне от вас?!

Смех был ему ответом.

Из колючей глубины шиповника высунулась сначала растопыренная пятерня, пошевелила крохотными пальчиками -- и скрылась обратно. Минутой позже кусты раздвинулись, и наружу выбралась голенькая девчушка лет пяти, вся измазанная в глине, как если бы Господь миров только что создал ее из сего праха земного.

Следом за местной Евой вылезли два чумазных Адама-трехлетки, созданные, по всей вероятности, из Евиных ребер.

Вон они, ребра девичьи, торчат решеткой, все наперечет: два, шесть, двенадцать...

А было четырнадцать.

Абу-т-Тайиб еще вчера обратил внимание: детей в Мазандеране имелось мало, но к вящему удивлению поэта, все они выглядели детьми человеческими. Разве что легко обходились без одежды, мало заботясь о прикрытии срама. Вот и эти малыши: чисто ангелочки! -- щеки румяные, кожа (если отмыть!) белей, чем у невольницы-саклабки, голубые глазенки лучатся озорством...

В кого вырастете, ангелочки?

Неужто в ифритов с ногами, как корабельные мачты?!

-- Шк-р-раа! -- вдруг скрежетнула девчушка, уподобясь павлину в брачный сезон.-- Шкур-ра!

-- Шкура? -- переспросил поэт, сам дивясь: сию у речки, с “дэвочкой” о пустяках болтаю...--

Какая шкура?

Девчушка стукнула себя по макушке кулачком, что должно было означать непроходимую тупость собеседника.

-- Гаорка! -- поправила она, тыча пальцем в дядю, которого судьба обделила понятливостью.-- Шкура-гаорка!

-- Скороговорка! -- догадался поэт, и был вознагражден радостными ужимками, которым позавидовали бы мартышки в чаще.-- Ты решила, что я скороговорку выкрикиваю?

-- Ага! -- девчушка шлепнулась на землю, оба Адама мигом подскочили к предводительнице и стали искаться в ее пышных кудрях, отталкивая друг друга.-- Шкура-гаорка давай!

-- Так я ведь шах! -- усмехнулся Абу-т-Тайиб малолетней нахалке.-- Негоже шаху низкими забавами баловаться!

-- Про шах давай! -- Ева была непреклонна.-- Шкура-гаорка про шах!

Пришлось славному мастеру рифм и ритмов поднапрячься.

-- Э-э-э... То ли шах я, то ль ишак, то ли шум в чужих ушах, то ли вышивка на шелке, то ли шука в камышах! Ну-ка, повтори!

Оглушительный галдеж был ему ответом. Три детских глотки всюю шипели, щелкали и скрежетали молоточками чеканщиков, розовые язычки мелькали, облизывая замечательную “шкура-гаорку про шах”; в итоге все остались чрезвычайно довольны друг другом.

-- Еще! Еще давай, шах-ишак! Давай про дэв!

-- Плакали по дэвам девы: “Где вы, дэвы? Дэвы, где вы?! О, в воде вы! О, в беде вы! В пекле на сковороде вы!”

-- Еще! Еще про дев!

-- Отвечали дэвы девам: “Заняты мы, девы, делом -- обещал полночный демон снять по утренней звезде вам!”

-- Еще!

-- Ах вы, негодники! Вот вы куда удрали!

Из-за кизила вывернулась женщина, обычная женщина, моложе самого Абу-т-Тайиба лет на двадцать пять и вполне годящаяся поэту в жены. Три попки были тут же отшлепаны, три носа вытерты, каждое дитя получило по своей доле упреков за побег; и женщина, рассыпаясь в извинениях, потащила детей прочь.

-- Стой! -- закричал ей вслед Абу-т-Тайиб.-- Стой, погоди!

Приказ был выполнен в точности: женщина остановилась, согнувшись в нижайшем поклоне.

Нет, бесталанный шах Кабира остановил няньку отнюдь не из желания поинтересоваться: что делает обычная женщина в Мазандеране? Абу-т-Тайиб уже успел встретиться здесь с доброй сотней невольниц, от юных пери до старух с седыми космами, которых дэвы натаскали отовсюду -- прибираться, готовить пищу и рожать вот таких голубоглазых ангелочков. Здесь не таилось ничего удивительного: еще в сказках никого не изумляло, когда дикий ифрит с дурным нравом предъявлял права на красавицу из человеческого рода.

Удивительным было иное: нянька ругала детей на чистом арабском, с легким налетом йемамского акцента.

-- Давно тебя выкрали? -- на том же языке, заново приноравливаясь к родному звучанию, поинтересовался поэт.-- Ну говори, не бойся: давно?

Маленькая слезинка выкатилась из уголка глаза и споро покатила по щеке няньки-невольницы.

-- Давно, мой господин! Летом восьмой год будет. Мы с братом выехали из Каира, по делам семейным, а тут -- ифриты... брата разорвали, а меня...

-- Из Кабира?! -- разочарованию поэта не было предела.

-- Нет, господин мой! Из Каира, столицы Египта.

-- В Египте нет такой столицы -- Каир! Во всяком случае, при мне не было...

-- Ну как же нет! Я ведь не какая-нибудь замарашка, я дочь известного равия, собирателя стихов, я грамоте обучена! Каир-столица, основан великими Фатимидами... Мы туда из Йемамы перебрались, с отцом и братом, а в Йемаму -- из Хадрамаута!

-- Славного беговыми верблюдами,-- машинально уточнил Абу-т-Тайиб.-- Земляки, значит... Дважды земляки: ты из Каира, я из Кабира! А когда, говоришь, Фатимиды этот ваш Каир zaloжили? И был вознагражден ответом:

-- В триста пятьдесят восьмом году лунной хиджры, мой господин! Отец еще записал: “О первый камень Каира! -- два года прошло со дня смерти Абу-ль-Фараджа Исфаханского, составителя “Книги Песен”, и дважды два -- со дня кончины великого поэта Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби! Быть тебе, Каир, градом стихотворцев!”

-- Ты уверена? -- осторожно переспросил поэт.

Так и встало в памяти: бархан и торчащий из него сапог.

Куфийский, с кисточками по краю голенища.

Больших денег стоит... стоил.

-- Абсолютно, мой господин! Я же дочь равия... Мой отец составил наилучшее собрание касыд аль-Мутанабби и сатир Ибн Суккары; мы потому и в Каир переехали, что у тамошних равиив сохранился малоизвестный вариант “Касыды о мече”!

-- Ладно, ступай,-- поэт безнадежно махнул рукой, присел на камень и долго любовался, как ветер ерошит крону кизила.

Вдоль берега речки мчались трое детей, и вслед за ними спешила невольница-нянька, похищенная ифритами Мазандерана из окрестностей Каира, столицы Египта.

Города, основанного Фатимидами спустя четыре года после смерти одного малоизвестного поэта.

Е рабб, не удивиться -- удавиться бы!... да не поможет

Наверное...

2

-- Мой шах хочет побыть в одиночестве?

-- Твой шах хочет... ничего он не хочет, твой шах. Садись, Гургин. Видел: дети бегут?

-- Видел, мой шах! Бегут, дай им Творец здоровья и судьбы получше, чем у родителей...

-- И то, что все дети -- “небоглазые”, тоже видел?

-- Не слепой... Да и каким им еще быть, мой шах?

-- Знаешь, Нахид отказалась раскрыть мне тайну “небоглазых”... Глупая! -- это у нее с того дня уродство в рост пошло?

-- Нет, мой шах. Это началось у Нахид-хирбеди еще у пещеры Испытания, когда она возражала мне. А в рост пошло, когда на твоей голове воссиял шахский кулах. Ну и дальше-больше...

-- А у Худайбега все началось, когда он в разгул ударился?

-- Увы, мой шах, разгул здесь мало что значит. Грабил бы себе твой любимец купцов да носильщиков паланкинов, глядишь, и по сей день слышали бы мы о славном курбаши Худайбеге! Просто Худайбеге, человеку, разбойнике, каких двенадцать на дюжину... Это он сборщика податей, видать, убил; или на столичного чиновника руку поднял.

-- И что?

-- Когда “небоглазый” живет обычной жизнью, не противореча власти, человеческое в нем сильнее чуждого начала. Он просто лишен благодати: не видит земными глазами ореола шахского фарра, и не слышит бляенья Златого Овна.

-- Как Дэв, который не признал во мне владыку там, на Судейской площади?

-- Да, мой шах.

-- Как Утба, когда кинулся на меня, обуйн боевым безумием?

-- Да, мой шах.

-- А если “небоглазый” подымает руку не на шаха, а на чиновника, на того, кто получил должностной кулах...

-- Подымать руку не обязательно. Власть есть власть, а сияние кулаха наместника или судьи есть частица сияния кулаха владыки -- который, в свою очередь, частица Огня Небесного. Обычному человеку даже в голову не придет укрывать зерно от уплаты податей. “Небоглазый” может укрыть -- и с этого часа в нем просыпается дэв. Ты видел, как это происходит, мой шах! Проходит время -- и новому дэву один путь: в Мазандеран. Если, конечно, он не будет убит ранее...

-- Людям с голуубизной взора можно жить, как все -- человеком; можно жить по-своему -- дэвом; что еще, Гургин?

-- И можно сойти с ума, приняв на себя должностной кулах. Сияние фарра выжжет нам мозг, обратив в чудовище не видом, но рассудком! Поэтому я молил тебя избавить старого дурака от тяжести венца безумия!

-- И поэтому Утба, став есаулом султанских телохранителей, начал смеяться невпопад? А Дэв падал в обморок, надев шапку юз-баши?!

-- Правота моего шаха...

-- Знаю -- неоспорима. Только ответь мне: почему Утба до сих пор в своем... почти в своем уме? И почему Дэв становился чудовищем гораздо медленнее, нежели Нахид?!

-- Близость султана, мой шах, для Утбы Абу-Язана... а для Дэва -- сперва отроческая незрелость, а после еще и близость моего шаха! Присутствие обладателя фарра сдерживает окончательное превращение “небоглазого” в дэва или сумасшедшего. Нам, чей взор дурен от рождения, опасно быть в сиянии власти; нам опасно быть против сияния власти -- но если это произошло, то нам лучше быть около власти. Около тебя, мой шах, ибо государство -- это ты, как

правильно заметил Баркук-Харзиец! Так предопределено от начала веков, мой шах, и от нас это не зависит. Смешно! -- любой из дэвов тянется к тебе, мой шах, ибо твое близкое присутствие вновь тащит на поверхность человека, утонувшего в трясине гиганта-урода; они, бывшие мятежники, бывшие слепцы, сейчас готовы душу за тебя положить на алтарь... Любой дэв стал бы самым законопослушным кабирцем, хургом, кименцем, он бы падал в ноги любому обладателю кулаха -- но люди не примут их обратно! Разве что с единственной целью: рассажать на колья...

-- Это не смешно, Гургин. Это страшно.

-- И опять правота моего шаха неоспорима. Это не смешно; а я -- старый дурак. Потому что советник, давший Кей-Кобад совет: как сделаться шахин-шахом...

-- Я слушаю.

-- Это был я, мой шах.

3

ПОВЕСТЬ ГУРГИНА, ВЕРХОВНОГО ХИРЬЕДА КАБИРА-БЕЛОСТЕННОГО, О ТОМ, ЧТО БЫЛО И ЧЕГО НЕ БЫЛО С НИМ, С ШАХОМ И СО СТРАНОЙ.

...во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного Фравашам -- душам усопших предков; во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов -- о вечное небо! -- меня призвал к себе солнцеликий Кей-Кобад, шах кабирский...

Нет, не так.

Иначе.

Знаете, как в Малом Хакасе лишают ведьм колдовского дара? Старуху сажают в круг из пяти

костров, и в летний полдень, окружена чистым огнем, она должна сорок раз назвать вслух имена сорока демонов-прислужников. Потом ведьму приводят в чувство, на пятом костре жарят печенку черной суки, насаживают эту печенку на колючую веточку терновника -- и кормят женщину поганой едой. После трапезы прочищая ей глотку одной веточкой и заставляя извергнуть съеденное вместе с даром к ведовству. А дальше главное: в течение месяца не кормить ведьму курятиной и на закатах обливать ключевой водой.

Иначе обряд придется повторить.

Хирбеда-отступника подвергают сходному очищению. Разве что вместо пяти костров становятся пятеро жрецов Огня Небесного, пятеро “небоглазых” высшего посвящения; вместо имен сорока демонов-прислужников грешник может твердить все, что ему угодно, или вовсе молчать; а вместо терновой веточки душу отступника прочищают колючим разумом Пятерых.

После этого кисель, бывший человеком, отправляют доживать свой век в тайные капища, укрытые от Огня Небесного.

К Нахид-хирбеди таких мер не применялось. Зачем мучить понапрасну? -- ее ведь просто пытались уберечь от греховного поступка, от глупости и ереси; но она свято хранила тайны хирбедов, зная, что всякий хирбед -- “небоглазый”, но не всякий “небоглазый” -- хирбед; и еще зная, что молчание -- тоже испытание.

Впрочем, речь сейчас не о Нахид.

Когда мы вернемся в Кабир-белостенный...

Нет, не так.

Иначе.

Если мы вернемся в Кабир-белостенный, я добровольно явлюсь в Судилище Огня и отдамся в руки братьев моих -- я, верховный хирбед Гургин, отступник и злоумышленник. Ибо не имел права говорить с обладателем фарра о тайнах “небоглазых”, о сущности дэвов и должностного безумия;

ибо еще жива меж нас память о шахе Заххаке-змееносце, который приказывал трижды на день кормить себя мозгом юношей и дев с голубыми глазами.

А теперь можно и с начала.

Во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного Фравашам -- душам усопших предков; во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов -- о вечное небо! -- меня призвал к себе солнцеликий Кей-Кобад, шах кабирский. Явившись пред очи владыки, я пал ниц и внимал его велениям. Но на этот раз шах долго молчал, а потом сказал удивительное.

-- Держава моего легендарного предка, Кей-Джамшида,-- сказал владыка,-- простиралась от маслячных рощ Кимены до барханов Верхнего Взя. Это так, хирбед Гургин?

-- Это так, мой шах,-- отвечал я с благоговением.-- Кей-Джамшид был повелителем мира, и фарр его являлся своему обладателю в виде святой чаши, откуда Кей-Джамшид обеими руками черпал благодать.

-- Почему же нынешние времена -- лишь слабое подобие прошлых? -- спросил владыка.

Я пожал плечами. Что отвечать? Что Кей-Джамшид возгордился сверх меры и стал черпать из чаши не обеими руками, а ведрами и черпаками? Что святая чаша от гнева раскололась на сотню кусков, и каждый кусок обратился в отдельный фарр -- кабирского Златого Овна, Лунного Зайца Харзы, Синего Тура Лоула, мэйланьского Голубя-Мяо?..

Вряд ли владыка хотел услышать от меня то, что прекрасно знал сам.

-- Пора вернуть величие прошлого,-- Кей-Кобад расхаживал по покоям, не глядя на меня.-- Пора склеить чашу моего предка Джамшида! Пора шахский кулах превратить в диадему царя царей! И ты поможешь мне в этом, верховный хирбед Гургин, поможешь... Я приказываю: через месяц ты явишься в эту залу и изложишь мне способ осуществить великий замысел! Проклятье, я головой согласен рискнуть ради желаемого!.. я жду тебя, Гургин, я жду тебя через месяц...

Уже в дверях меня догнали последние слова Кей-Кобада.

-- Это приказ, хирбед! -- сухо бросил владыка в спину раба своего, скорее подчеркивая, чем напоминая.

С того часа мне кажется: шах кабирский знал больше, чем говорил. Видимо, меж хирбедов сыскался-таки отступник, приоткрывший Кей-Кобадку краешек завесы над тайнами “небоглазых”. Ведь словами “это приказ!” шах ставил меня в безвыходное положение! -- а шахи редко произносят вслух такие слова, ибо любая их прихоть -- и без того приказ. Ослушайся я Кей-Кобада, откажись искать нужный способ -- это означало бы, что некий Гургин, человек с голубыми глазами, воспротивился воле обладателя фарра, воле олицетворения державы!..

Вскоре среди дэвов Мазандерана вполне мог явиться еще один, плохо помня о своем звании верховного хирбеда.

Предложи я способ наугад, без должного разума и надежды на успех -- пусть надежды куцей, будто заячий хвост! -- шах погиб бы страшной смертью, пытаясь накрыть одним плащом двоих, пытаясь стать вдвое больше, а вместо этого разрываясь пополам...

С нового Испытания вернулся бы новый шах; но что решил бы Златой Овен относительно неудачливого советчика Гургина?!

Относительно того человека с голубыми глазами, чей совет на миг подвел Овна к краю пропасти?!

Вскоре среди дэвов Мазандерана... впрочем, об этом я уже говорил.

Время шло.

Я долго думал.

Подобно сапожнику, пытающемуся из одной заготовки стачать две пары сапог; подобно цирюльнику, норовящему из редких прядей на подбородке старца соорудить пышную бороду в завитках; подобно матери, которой нужно одной лепешкой накормить ораву сыновей.

Я очень долго думал.

У меня имелся в запасе целый месяц; много, крайне много, если ты обучен думать.

Да, султан Харзы был прав, указывая новому владыке Кабира, где искать! Шах Кей-Кобад действительно вознамерился разбить страну на четыре удела, официально назвав каждого наместника-марзбана -- шахом, а себя -- царем царей! Безумие? Чуть? Возможно...

Если не пройти заново путем размышлений глупого Гургина.

Вот они, осколки чаши Джамшида, фарры держав: овен, голубь, заяц... Но где же видано, чтобы зайцы охотились на голубей, а туры наполняли чрево бараниной?! Огонь Небесный распорядился единственно правильным образом; фарры не были способны стать друг другу врагами или соперниками.

Но приказ Кей-Кобада... приказ воина... приказ волка!

Я решил превратить Овна в волка.

И мой совет Кей-Кобаду был волчьим советом, попыткой научить шаха есть сырое мясо, не поперхнувшись. В качестве первой добычи предполагались наместники четырех уделов -- частицы собственного кабирского фарра. Безопасно; наивно; удивительно! -- но волчица приучает детей к мясу исподволь, таская в логово то овечью лопатку, то полевую мышку... лопатку надо грызть, мышку надо душить, а там черед дойдет и до серьезной травли.

После обеда самим собой у шахин-шаха, у царя царей Кобада должна была возникнуть любовь к свежатине.

Или хотя бы -- привычка.

А сияние фарра, после того, как Златой Овен поглотит собственные частицы, должно было стать -- хищным.

Я не видел иного способа склеить чашу Кей-Джамшида.

Совет пришелся владыке по душе. Он искренне пытался благодетельствовать меня, предлагая открыть для умницы-Гургина свою сокровищницу; он щедро жертвовал на храмы и приближал

хирбедов сверх меры. Одновременно Кей-Кобад заказал себе бранный доспех, новые латы для новой славы, и собирался буквально на днях объявить о реформе обустройства державы.

А я все чаще ловил себя на недостойном хирбеда возбуждении.

Мне стало интересно: прав ли я?

Можно ли на самом деле превратить Златого Овна в Серого Волка?!

Когда возбуждение достигло предела, я увидел сон -- хотя обычно сплю без сновидений.

Символ кабирского фарра сидел напротив меня и смотрел в упор налитыми кровью глазами. Ничего не предпринимал; просто сидел и смотрел. Будто раздумывал: что следует со мной делать? Или иначе: что следует делать со мной за то, что я собирался сделать с ним, Златым Овном? И баранья морда ухмылялась мне в лицо зловещим оскалом.

Волчьим.

Мы, хирбеды, путем долгих усилий, приучаем себя видеть образ державного фарра; не так, как все, но мы его видим, в отличие от простых “небоглазых”.

В эту ночь я проклял дар виденья.

На следующее утро меня вновь призвал к себе владыка Кабира.

-- Мне снился Златой Овен,-- без обиняков сообщил он.-- Ему по душе избранный мной путь.

Дело за малым: перед началом нового пути я должен опять пройти через пещеру Испытания. Один; без спутников и соперников. Войдет не шах-заде, но шах; выйдет не шах, но шахин-шах. Ты поедешь сопровождать меня.

-- К пещере Испытания ездят два хирбеда сопровождения,-- я низко поклонился, недоумеваю.

Воля Златого Овна показалась мне по меньшей мере странной. Но разве не было странным все, задуманное нами?!

Шах брезгливо поморщился.

-- Лишние уши, лишний язык, мой Гургин... Говорят, у тебя есть ученица? Молоденькая

глупышка? Возьми ее.

Так Нахид впервые оказалась в горах без названия.

Вопреки обычаю: хирбедов сопровождения избирает не воля шаха, а Совет служителей Огня Небесного -- но Совет согласился с моим предложением.

Мы легко добрались до пещеры Испытания, и Кей-Кобад вошел внутрь.

Я и Нахид ждали его у выхода до самого заката.

А потом еще -- от рассвета до заката.

А потом еще.

И на ум раз за разом приходило возвеличивание легендарного Кей-Джамшида, чья гордыня не уступала его же мудрости, а мудрость была беспредельна:

-- Теперь шахин-шах полновластный наш -- ты,

Хоть солнце зашло, месяц ясный наш -- ты.

Всю землю пусть воля твоя покорит,

А имя на арках дворцовых горит!

Мы ждали напрасно.

Шах исчез; и лишь из темной глубины пещеры эхом доносилось насмешливое бляенье.

Спустя неделю ожидания мы отправились домой.

...едва успев пересечь кабирские пределы, мы с Нахид окунулись в траур. Окна наместнических дворцов были занавешены синим атласом, меж дикхан царило смятение и растерянность, и хирбеды трижды на день возносили молитвы за упокой шаха Кей-Кобада.

Безвременно скончавшегося от старости.

-- Когда умер шах? -- спросил я у первого же гонца, которого узнал по лисьему малахаю.-- Когда?! Из ответа я выяснил, что великий шах умер больше двух месяцев тому назад, не покидая перед этим своего дворца.

Для нас с Нахид прошло около трех недель; для кабирцев -- для них срок был совсем иным. Вернувшись в столицу, я немедленно встретился с братьями-хирбедами. Многие из них были очевидцами похорон и в один голос утверждали: да, хоронили именно Кей-Кобада. Я посетил мавзолей владыки, долго стоял у гробницы... из углов насмежалась пыльная тьма.

Все вокруг честно похоронили владыку, все прекрасно помнили и заключения лекарей, и момент кончины, и траур; все прожили больше двух месяцев, день за днем, минуту за минутой...

Прожили?

Нет?

Тогда я впервые задумался об истинном и ложном.

Можно ли отыскать различие?.. наверное, нельзя.

Я оплакал Кей-Кобада и наш дерзкий замысел. Я велел Нахид молчать даже под пыткой; и она повиновалась. И когда из всех претендентов на фARR и трон остался один Суришар, его поехали сопровождать двое: я и Нахид.

Совет не стал возражать.

Мне хотелось вновь оказаться у пещеры Испытания. Мне все время казалось: умерший и оплаканный шах ждет нас там, ждет, еженощно мучаясь насмешкой Златого Овна... тщетные надежды. У пещеры никого не было, и Суришар вошел внутрь.

А вышел ты, мой будущий владыка; и я видел сияние вокруг твоего чела, как умеют это видеть лишь хирбеды высшего посвящения.

Я не рискнул противоречить воле фARR-ла-Кабир.

Замечу лишь, что входят в пещеру Испытания многие, а выходит -- один. Никому не известно,

куда деваются остальные, и где отныне лежат их пути. Возможно, кто-то из предков моего нового владыки был отмечен благодатью фарра, и она сказалась в его потомке; возможно...

Возможно все.

Даже то, что невозможно.

Я понимаю: мои слова может подтвердить лишь Нахид, но, к сожалению, она теперь уже ничего не станет подтверждать.

Нет под горбатым небосводом суда, где рассматриваются свидетельства дэвов.

Вот он, здесь, в удивительном месте -- бывший шах Кей-Кобад, заново посетивший пещеру Испытания, чтобы вместо обретения титула шахин-шаха потерять свой собственный фарр!

Но и он ничего не сможет подтвердить: он безумен. Даже меня он не узнает, и только таскается следом неотвязной тенью. Умоляет поговорить с вором, укравшим его фарр, умоляет вернуть прежнее имущество бедному уроду...

Мне жаль его.

Я не знал, что так бывает.

Глава шестая,
исполненная стонов и воплей,
мудрых раздумий и горьких терзаний,
но от этого никак не проясняются правила игры в мейсир --
когда игральные стрелки называются частями верблюжьей туши,
после чего они мечутся с определенным смыслом и значением.

-- ...Потерять собственный фарр, надеясь его увеличить, -- задумчиво повторил Абу-т-Тайиб. -- Нет, не тревожся, мой бдительный Гургин! -- меньше всего на свете мне хочется поменяться местами с Кей-Кобадом. Даже с Кей-Кобадом лучших времен, владыкой владык, которому даже в страшном сне не могла бы привидеться доля нынешнего “карлика”. Мне претит участь венценосного раба при Златом Овне, заседланного мерина под рогатым седоком -- но участь безумца меня тем более не прельщает! И все же, все же... Если есть способ избавиться от сияющего проклятия Овна -- то, быть может, есть и способ остаться при этом в своем уме? Ах, Кей-Кобад, гордый Кей-Кобад, скорый на решения и поступки! Будь в моих силах хоть на миг вернуть тебе ясность рассудка, чтобы ты рассказал... Ведь ты хотел совсем иного, нежели хочу я! Не в этом ли ответ? Что скажешь, хирбед?

-- Я не знаю, где кроется ответ, мой шах. Но я на коленях молю тебя: не иди путем Кей-Кобада! Это пагуба и ересь -- тягаться со Златым Овном! Ты можешь пропасть, погибнуть, сойти с ума, как твой несчастный предшественник -- а Кабир вновь покинет благодать Огня Небесного! Я не желаю зла ни тебе, ни своей стране...

-- Верю. Но я -- плохой шах! Меня тяготит шахский кулах и фарр, тяготит восторженная покорность моих подданных, покорность искренняя, честная, и от того еще более ненавистная! Знаешь, Гургин: там, откуда я пришел, я иногда втайне мечтал о венце султана или халифа -- но я никогда не мог подумать, что этот венец мне вручат просто так, даром: садись и владей нами! Нет! Я не желаю подарков от какого-то барана, пусть хоть и трижды Златого! Свободный человек, я не люблю, когда мне швыряют подачки -- будь то кусок лепешки или диадема царя царей! И если в своих мечтах я надевал на голову венец владыки -- в этих мечтах я всегда брал его сам! Понимаешь -- сам! Своими руками и мечом! И никак иначе. Е рабб, ведь сто раз слышал от сказителей: юноша является в неведомый край, ему на плечо садится голубь или ворон -- и местные жители мигом возводят юношу на трон! Слышал, смеялся, но никогда не мог себе представить весь ужас случившегося... Представил. Гургин, меня тошнит вашей сказкой!

Гургин угрюмо молчал. Понимал: спорить бесполезно. И даже не потому, что слово шаха -- закон для подданных...

-- Вышел бы из меня достойный правитель или не вышел -- одному Аллаху ведомо; но не здесь, и не ТАК. Мы чужие друг другу: я и мой фARR. Значит, рано или поздно, нам придется встать лицом к лицу... вернее, лицом к бараньей морде.

Поэт саркастически хмыкнул; видимо, ясно представив себе эту замечательную встречу.

-- Мы сойдемся на узкой дорожке. И дальше отправится восвояси лишь один; или оба -- но в разные стороны. Впрочем, на такой исход я мало надеюсь!.. И еще, положи руку на сердце: боязно встречаться в темноте, вслепую. Ах, если бы Кей-Кобад хоть краешком намекнул мне, что случилось с ним там, в пещере Испытания! Проклятье! Я сам поговорю с ним! Мне удастся... обязательно удастся...

И, не договорив, Абу-т-Тайиб проворно вскочил на ноги.

-- Как будет угодно повелителю,-- развел руками Гургин.-- Возможно, моему шаху удастся то, что не удалось глупому старому хирбеду.

Старец еще долго сидел и глядел вслед своему владыке.

Так, как будто видел его впервые.

2

“Карлика” Абу-т-Тайиб нашел в достаточно просторной и сухой пещере, указанной ему верным Дэвом. В шершавом сумраке теплился робкий огонек лучины, и огрызок света испуганно вздрогнул, едва в проходе возник силуэт незваного гостя.

Груда ветхих одеял на каменном выступе зашевелилась, и из ее глубин возникли борода и

один глаз.

Борода была всклокоченная, а глаз -- левый.

Голубой.

-- Вор,-- вяло сообщила борода.-- Все украл. Больше ничего нету.

Борода с глазом вновь спрятались под одеялами, и оттуда послышалось то ли сопение, то ли всхлипы.

Абу-т-Тайиб с трудом заставил себя приблизиться к импровизированному ложу бывшего повелителя Кабира, к услугам которого были бесчисленные множества лож совсем иного свойства; вдобавок, воняло в логове отставного шаха нестерпимо. Но иного выхода не было. Поэт присел рядом с ложем на корточки и, собравшись с духом (во всех смыслах), заговорил:

-- Обижаете, Кей-Кобад, не вор я. Скорее уж жертва, подобно тебе. Все у меня отняли, все, что имел, обобрали до нитки, а взамен твое тряпье всучили: фARR, и дворец, и гарем -- век бы я этого добра не видел! Смотри, друг, брат, товарищ по несчастью: на колени перед тобой встал, винюсь -- хоть и нет моей вины, а винюсь! Сегодня же с тобой местами поменялся бы, да не знаю -- как? Подскажи, а?! Ведь без фARRа не видать тебе дворцов с гаремами, как своих ушей; пропадешь ни за медный фельс, подобно бакылю-тупице... Что скажешь, шах?

И умолк в ожидании; будто дитя неразумное уговаривал.

Сопеть под одеялами перестали.

-- Отдай! Отдай! Сейчас отдавай, воруага! -- глухо донеслось из-под одеял.

-- Подскажи, как?!

Молчание.

-- Ну, хочешь, во дворец пойдем? Еды прикажем натаскать, женщин привести? И все -- тебе! Одному тебе! А ты только расскажешь...

Одеяла вихрем взметнулись к потолку пещеры, так что поэт, невольно отшатнувшись,

чувствительно приложился к полу многострадальным крестцом.

-- Пошли! -- Кей-Кобад был уже на ногах и в нетерпении запрыгал вокруг Абу-т-Тайиба.--
Пошли, ворюга! Сейчас!

-- Сию минуту,-- покладисто согласился поэт.

Однако у самого входа во дворец-пещеру произошла заминка. “Карлик”, за минуту до этого гордо вышагивавший впереди поэта, вдруг взвизгнул, будто змеей ужаленный, и резво отпрыгнул за спину Абу-т-Тайиба.

-- Нет! Ловушка! ОН там! Опять! Опять есть будет!

-- Кто? -- недоуменно обернулся к нему Абу-т-Тайиб; и почти сразу до его слуха из глубины “дворца” донеслось приглушенное бляенье.

-- Баран, что ли? -- догадался поэт.

-- Он! Золотой! Огнем жжет! Не хочу!

-- А ну, приятель, будь мужчиной! -- ухватив бывшего шаха левой рукой за ворот (чтоб не сбежал), Абу-т-Тайиб правой потянул из ножен ятаган.-- Вот мы его, рогатого!

Ятаган с раздражением взвизгнул, упираясь, но Абу-т-Тайиб пренебрег этим, как пренебрег и страхом “карлика”; и с клинком наголо двинулся вперед.

Если проклятый баран и угнездился во дворце, то при появлении двух шахов успел куда-то спрятаться. Оглядевшись, Кей-Кобад вскоре успокоился. А когда по приказу Абу-т-Тайиба дэв-слуга расстарался насчет еды -- здоровенное блюдо жареной тrefухи с неизменными лепешками -- то “карлик” и вовсе забыл про страх, с жадным чавканьем набросившись на кушанье.

Огненными бабочками трепетали на стенах языки факелов, тьмой крошечной клубилась под потолком копоть, масляно отблескивали по углам медь и бронза -- а посреди всего этого набивал рот горелыми потрохами бывший шах Кабира. Владыка, хотевший большего и потерявший все, отчего сейчас ему хватало для радости малого -- незатейливой стряпни мазандеранцев. И сидел рядом, глядя

на предшественника и не притрагиваясь к пище, словно был он в доме врага и за трапезой врага, владыка нынешний; и еще угрюмо молчал неподалеку исполинский черный трон. Кто восседал на нем в былые дни? Для каких великанов предназначался он, сгусток полированного мрака, пустующий сейчас...

Пустующий?

Как бы не так!

Кей-Кобад, оказывается, был не настолько поглощен едой, чтобы не замечать ничего вокруг. “Карлик” сразу уловил, как изменилось выражение лица нового шаха -- и не замедлил проследить за его взглядом.

Глаза Кей-Кобада мгновенно полезли на лоб, безумец вскрикнул -- и подавился, отчего лицо его мигом налилось опасной синевой.

На тигриной шкуре поверх трона вольготно разлегся давешний баран. И теперь Златой Овен с высокомерным неодобрением наблюдал за людьми, словно раздумывая: а не кликнуть ли стражу, не приказать ли вышвырнуть вон обоих наглецов?

-- Ну, ты, шаурма недорезанная! -- изумился Абу-т-Тайиб, мимоходом хлопая Кей-Кобада по спине (еще задохнется и помрет ненароком!).-- Совсем обнаглел, скотина!

Остатки требухи, секундой раньше вставшие безумцу поперек глотки, изверглись наружу вместе с громким кашлем; а поэт не замедлил использовать кувшин, удачно подвернувшийся под руку, не по его прямому назначению.

Угодив промеж рогов, метательный снаряд разлетелся в черепки, а баран только обиженно бибекнул, соскочил с трона и поспешил укрыться в одном из боковых проходов.

-- Лучше рассказывай по-хорошему,-- решил поэт сменить подход к упрямому собеседнику.-- Все, все рассказывай, до конца! А то ведь он от тебя не отстанет! Сам видишь. А вместе, глядишь, и придумаем что...

Он сам не верил в собственные слова. Ему было невыразимо стыдно обманывать несчастного, помочь которому в силах разве что Господь миров -- но Абу-т-Тайиб должен был знать: что стряслось с Кей-Кобадом в подлой пещере Испытания!

Как ни странно, угроза возымела действие.

Лицо безумца на какой-то миг приобрело почти осмысленное выражение; Кей-Кобад наморщил лоб, мучительно пытаясь собраться с мыслями.

-- Темнота...-- уста “карлика” родили хрип, и Абу-т-Тайиб замер, стараясь не пропустить ни единого слова.-- Свет... жжет! Бежать! Бежать! Не-е-ет! -- заорал вдруг Кей-Кобад дурным голосом, заставив поэта подпрыгнуть от неожиданности.

-- Не-е-ет!

И, обеими руками вцепившись в собственные волосы, безумец ринулся к выходу.

3

...позади остались края каменной чаши, подпирающие небо, источенные жилищами дэвов; позади остались серебристый плеск ручьев и чахлые огороды (отсюда они смотрелись драным лоскутным одеялом); позади осталась горная осыпь, которой, казалось, не будет конца -- и под сбитые сапоги Абу-т-Тайиба, устав прятаться от назойливого бродяги и решив сдаться на его милость, легла узенькая тропинка.

Куда ведешь, тропа?

Какая разница, дуралей?! -- иди, пока идется...

Поэт уходил.

В горы.

Куда глаза глядят.

На душе скребли шакалы; и гадили в потаенные уголки, не пропуская даже самого укромного. Дерьмо; все дерьмо -- и собственная душа, взятая под залог у Аллаха, тоже. Не хотелось никого видеть: ни старого мага, ни верного Худайбега, ни вечно смеющегося Утбу, ни почтительных уродов-мазандеранцев...

Хочу быть один! -- вы слышите?!

Оди-и-ин!!!

И -- не получалось.

От себя не уйдешь. От себя, своего проклятия и искаженного ужасом лица безумного Кей-Кобада, которое насмешливым призраком маячило впереди.

Закрой глаза -- маячит.

Ослепни... не поможет.

Как же тебя выкрутили мокрой тряпкой, гордый шах, задумавший из барана стать волком, как же тебя измочалили, прежде чем заново вышвырнуть в мир из пещеры Испытания! Что сделал с тобой Златой Овен, прежде чем сорвать с чела сияющий ореол власти -- вместе с твоим рассудком?!

Молчишь?

Не скажешь?

Теперь сам вижу -- не скажешь. Ни мне, ни своему бывшему горе-советнику, и никому другому на этой грешной земле. Разве что Аллаху, когда предстанешь перед ним на Страшный Суд. Только Всеведущему ни к чему твои откровения -- он и так знает все. А пока ты здесь, на земле, ты останешься всклокоченным безумцем, чей язык горазд лишь ерунду молотить да требуху облизывать...

И никто ничего уже не расскажет, не объяснит глупому поэту, не откроет глаза -- поздно. Чего ты добился, несчастный? Узнал тайну “небоглазых”? Узнал. Радуйся! Пляши от счастья! Чем поможет тебе эта тайна? Вернуть прежнюю Нахид? Не дать Худайбегу окончательно превратиться в чудовище? Самому избавиться от клейма Златого Овна? Чего ты добился, прах земной? Хотел

попасть в Мазандеран? -- ты здесь. Пытался сбежать от поданного тебе на блюде Кабирского шахства? -- в итоге тебе на блюде поплосше преподнесли страну дэвов. Где тебя тоже величают шахом и, дабы угодить, вышвыривают в рвань и темень несчастного юрода, лишая его последней радости в этой жизни.

А тайны?.. тайны остаются тайнами, и пора бы уже понять: хоть волком, хоть бараном, а придется идти, куда жизнь ведет!

Не хочешь?

Гордый?!

Ну и подавись своей гордостью...

* * *

Тропа вильнула хвостом, угловатая скала послушно уступила Абу-т-Тайибу дорогу, и поэт увидел, что дальше пути нет, и уступчивость скалы здесь ни при чем.

На тропе, словно восстав из-под земли, стояли четверо дэвов: рогатый исполин и трое приземистых громадин, об которых и носорогий зверь аль-каркадани с разбегу лоб расшибет.

-- Дорогу! -- зло ощерился поэт.-- Дорогу их шахскому величию!

Он двинулся вперед, набычась и сжимая кулаки -- но дэвы, в отличие от покладистой скалы, отнюдь не спешили уступать дорогу их шахскому величию. Стояли, переминались с ноги на ногу, сотрясая твердь.

Молчали.

И не уходили.

-- Оглохли, уроды?! Прочь!

Абу-т-Тайиб подступил вплотную к рогачу и недвусмысленно положил ладонь на рукоять

ятагана.

-- Назад ходи,-- неожиданно тоненьким голоском проблеял местный шайтан.-- Сюда нет. Назад.

-- Ах ты, дитя блуда...-- начал было Абу-т-Тайиб, до половины обнажая клинок; и вдруг осекся.

Ведь мечталось, до боли мечталось, меряя шагами покои кабирского дворца: эй, люди -- оспорьте, возразите, ну хоть просто взгляда не отводите! Вот же оно! Открытое неповиновение! Да, конечно, дэвы -- не люди... уже не люди -- но не этого ли ты хотел, хотел едва ли не более страстно, чем свою первую женщину?! И едва желаемое возникло пред тобой, как ты впадаешь в ярость, хватаешься за ятаган... Или Златой Овен успел тайно проникнуть в твою душу, в твое сердце и разум, превратив их в собственный хлев, исподволь делая бывшего поэта шахом, владыкой до мозга костей, принимающим радостную покорность и бездумное раболепие, как должное?!

Что с тобой, поэт?!

-- Назад ходи,-- тупо повторил рогач.

Абу-т-Тайиб пожал плечами и медленно побрел обратно. Подчиняться было легко и сладостно. Может быть, там, дальше, расположена какая-нибудь дэвская святыня? Капище? Запасы на зиму? Впрочем, важно другое: оказывается, дэвы не столь покорны шахской воле, как люди! Ну почему, почему тупые чудища способны на то, чего не могут обычные смертные?! Ах да, они же -- “небоглазые”... бывшие. Уходить, уходить отсюда, уносить ноги, из Кабира, из Мазандерана, из нового бытия -- в пещеру Испытания, в Медный город, в пустыню, под бархан, куда угодно!

Не могу больше!

До ушей Абу-т-Тайиба долетел шорох щебня, и поэт резко обернулся.

Дэвы тащились следом, держась шагах в тридцати позади.

-- Да оставьте вы меня в покое! Я хочу побыть один! Один -- понятно?! -- рявкнул он

и прибавил шагу, что на каменной осыпи, до которой он уже успел добраться, было весьма небезопасно.

Дэвы малость отстали, но продолжали следовать за ним. И лишь когда осыпь кончилась, поэт, оглянувшись, не обнаружил за спиной молчаливой свиты. Или стражи? Кто его знает. Дэвы растворились в скалах, и на мгновение Абу-т-Тайибу почудилось: это ожившие утесы заступили ему путь там, на тропе -- а теперь вновь застыли в неподвижности, вернув себе прежний облик.

Из котловины слабо взметнулся чей-то голос, прынул в небо, и почти сразу оборвался, сбитый влет.

Поэт остановился.

А там -- побежал.

4

-- Расскажи все,-- тупо повторил дэв-стражник и потянулся за дымящейся головней.-- Шах прикажи -- расскажи все. Говорить.

И неловко ткнул головней в голый бок существа, привязанного к чинаре.

Пленник отчаянно закричал, на губах его выступила грязная пена; и он обмяк.

-- Да что ж вы делаете, отроде ифритов?! Прекратить немедленно!

Абу-т-Тайиб буйволом расплескал толпу уродливых зрителей, мало заботясь о разнице в размерах и силе. Свистнул ятаган, с тупым стуком разрубив веревки и глубоко ранив старую чинару; после чего несчастный "карлик" без сознания свалился прямо на руки владыке Кабира и Мазандерана.

Поэт беспомощно огляделся и увидел спешащего к нему Гургина.

-- Гургин! Вовремя ты! Тащи скорей воду, масло и чистую ткань!

- Уже несу, мой шах!
- Хорошо, займись этим бедолагой...

Окончательно убедившись, что пострадавший Кей-Кобад находится в надежных руках, Абу-т-Тайиб обвел собравшихся вокруг дэвов таким тяжелым взглядом, что великанов, казалось, должно было вогнать по пояс в землю.

-- Зачем? -- очень тихо спросил поэт.

От этого тихого голоса любого обычного человека продрал бы мороз по коже.

Однако шкура дэвов была куда толще обычной.

-- Говорить не хотеть, цволачь! Мы пытай,-- гордо заявил дэв-стражник, и на его плоской физиономии отразилось искреннее недоумение.

Мол, разве и так не понятно?

-- Что он должен был сказать? -- ярость клокотала в груди, подступала к глотке, и поэт с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть ее наружу звериным рыком и стальным вихрем ятагана, рубящего в куски все и вся.

-- Все. Все сказать,-- уверенно отвечивал стражник.

-- Что -- все? -- ярость слегка отодвинулась, уступая место недоумению -- едва ли менее искреннему, чем у стражника.-- Что ты несешь, тупица?!

-- Все. Шах дворец говори: "Рассказать все". По-хорошему проси, потрохами корми, с собой сажай. Цволачь не хотеть. "Не-е-ет!" кричать,-- дэв говорил медленно, с трудом подбирая нужные слова.-- Я на ухо ловкий, сам слышать. Я цволачь лови. Пытай. Чтоб говори все -- как любимая шах хотела! Вот.

-- Они хотели, как лучше,-- еле слышно шепнул Гургин, покрывая ожоги несчастного зигировым маслом.

-- Я понимаю,-- таким же шепотом ответил магу поэт.

Дэвы стояли. Ждали. Чего? Может быть, благодарности за проявленное рвение?

-- Не надо его больше пытаться. Слышите? Не на-до! -- как маленьким детям, по складам, произнес Абу-т-Тайиб, обращаясь к дэвам.-- Идите. Мы сами справимся.

Дэв-стражник некоторое время еще топтался на месте, и, так и не дождавшись похвалы, обиженно затрусил прочь.

Вслед за ним начали с явной неохотой расходиться остальные.

Поэт обернулся к Гургину.

-- От меня одни беды,-- горечь жгла грудь, спирала горло, насквозь пропитывала слова, перед тем, как выплюнуть их наружу комками мокроты.-- Я всем несу только зло. Рука Омара Резчика; молодой вор-чангир; хурги; жабы выходки в Кабире; Нахид, ставшая из-за меня чудовищем; и вот теперь -- безумец, у которого я отнял все! Хватит! Я был другим, не хорошим, не плохим; это проклятый фарр, да сожжет он сам себя, это поганый баран -- вот кто сделал меня людоедом! Все, старик. Завтра мы уходим отсюда. Мы идем в пещеру Испытания! И будь, что будет! Я больше не могу жить с этим!..

Унылое бляенье послышалось совсем рядом, и поэт, вертя головой, не сразу понял: блеет Кей-Кобад, так и не придя в сознание.

5

Солнце нежными пальцами огладило горбы дальнего хребта, белизну зубчатой гряды; и снег вершин, не в силах сдержать восторга, в ответ взорвался изнутри нежнейшим золотом, тихим пламенем сердцевины. Небо стало еще прозрачнее, наливаясь отчаянной голубизной, лес на склонах встретил праздник ответными брызгами зелени, и бока утесов вплели в этот фейерверк свою, темно-

бурую ноту.

Безудержная сила разлилась в воздухе -- пей, мечтающий стать героем, черпай обеими горстями, пластай ломтями и набирай про запас, без стеснения!

Ну же!

* * *

-- ...здесь, здесь он, родимый,-- одышливо бормотал себе под нос Гургин, цепляясь за шершавый, весь в узлах и шишках ствол выроodka-можжевельника; и минутой позже маг продолжил упорно карабкаться вверх по склону.

Впереди всех.

Следом за ним обезьяной прыгал ухмыляющийся своим грезам Утба, готовый в любой момент поддержать старого хирбеда, если тот вдруг оступится на крутизне. Тщетны старания, хург! -- Гургин ни разу не оступился: кряхтел, бормотал всякую ерунду, но лез в гору с упрямством потомственного ишака.

-- Где -- здесь? -- в очередной раз поинтересовался Абу-т-Тайиб, вытирая пот ладонью и шипя от боли: соленая влага разъедала ссадины.-- Кто -- здесь? Куда ты завел нас, Айван ибн-Сасан, проводник адов?!

-- Здесь он, мой шах! Ал-Речат, тайна из тайн, чье имя меж сведущими означает...

-- Да знаю я, что означает Ал-Речат! -- взбунтовался поэт.-- Уж получше тебя! Тебе-то откуда такие словечки известны?!

Ал-Речат на родном языке поэта означало дословно “междуместье”, то пространство, что лежало между стенами крепости, внутренней и внешней.

Промежуток, так сказать.

-- Мне? -- маг выбрался на скальный уступ, сплошь поросший чахлой травой, но от вопроса шаха едва не свалился вниз.-- Мне как раз ясно, откуда; я -- хирбед... Точно, здесь. Чуешь, Худайбег?

-- Чую,-- согласно кивнул Дэв.-- Здеся он, скорпион его закусай! Этот, который промеж, твое шахское...

И помог взобраться на уступ Нахид-дэви, с глупой улыбкой тарашившейся по сторонам.

Разумеется, бросать в Мазандеране кого-либо из своих спутников поэт не собирался -- да они бы и сами не остались. Даже Худайбег, доведись ему выбирать. А вот насчет Нахид... относительно бывшей хирбеди Абу-т-Тайиб долго колебался. Помочь несчастной он вряд ли сможет; среди людей ей теперь не жить -- а здесь, в Краю Дэвов, она, по крайней мере, своя! Оставить? Или все-таки надежда есть? Одному Аллаху ведомо, что случится, когда он во второй раз войдет в пещеру Испытания... Надеяться оставалось лишь на чудо -- но разве не за чудом, пусть страшным, чуждым, непредсказуемым чудом, шел он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?

Разве не чудо все, случившееся со мной, беспутным рифмоплетом; и, клянусь бородой святого Хызра, не о таких чудесах молил я Господа миров!

Сомнения поэта неожиданно разрешил Гургин.

-- Бери ее, мой шах,-- уверенно заявил маг.-- Лишний дэв нам очень даже понадобится.

-- Зачем? -- удивился Абу-т-Тайиб.

-- Дорогу прокладывать,-- буркнул Гургин, и поэт не стал пускаться в дальнейшие расспросы. Даже извинений за случайную грубость слушать не стал. Может быть, эта таинственная дорога завалена оползнем? Тогда дэвская сила Нахид действительно окажется кстати...

А тащить с собой местных исполинов поэт хотел меньше всего.

Выступили на рассвете, едва золотая кровь солнца легла на клыки южных вершин. Заспанная Нахид, поднятая Худайбегом прямо с убогого ложа, счастливо пялилась на вождя шаха и все

старалась придвинуться к нему поближе, побыть рядом, чуть ли не потереться об поэта!

О своей недавней обиде она уже и не вспоминала; а о давней ненависти -- и вовсе...

Абу-т-Тайиб же честно старался смотреть мимо бывшей хирбеди. Иначе перед внутренним взором чередой сменялось: что было и что стало! Оставалось лишь кусать губы от бессилия и остервенело карабкаться на склон.

Но, может быть...

Ради этого призрачного “может быть” они и лезли сейчас в гору в поисках загадочного Ал-Рабата.

Междуместья.

Промежутка.

Выхода к пещере Испытания.

6

Тупик.

Перед ними высилась скала -- отвесная голая Башня Молчания, на верхушке которых еретики-огнепоклонники оставляют своих покойников на поживу стервятникам.

Стена без каких бы то ни было признаков расселины, пещеры или замурованного входа.

-- Ну и? -- Абу-т-Тайиб злобно полоснул мага взглядом, тщетно пытаясь сдержать кипящий вал бешенства.-- Сим-Сим, откройся, это мы, сорок разбойников?!

Если б не почтение к седидам...

-- Ал-Рабат здесь, мой шах! -- смущение было неведомо верховному хирбеду Кабира.-- Сейчас начнем уговаривать. Я думаю, с двумя дэвами, если они возьмутся как следует... Помнишь ли ты ущелье, где Нахид устроила засаду? И ее бегство от преследования?

-- Прямо через скалу?! -- дошло наконец до Абу-т-Тайиба.

-- Именно так, мой шах, именно так. Ну что ж, приступим.

Гургин отобрал у Утбы хурджин, извлек из него плоскую жаровенку в виде солнечного диска с лучами -- правда, больше жаровенка походила на краба. И принялся разводить огонь, бормоча себе под нос разную чушь на неизвестном поэту языке. Прозрачными змейками закурился пряный дымок, робко потянулся к скале, как тянется к блуднице юноша, впервые ощутивший томление плоти; вот нежные пальцы тронули одежды из сланца и базальта, распахнули полы, лаская упругую кожу, сглаживая выступы и неровности; вот любовный пот заструился по телу скалы, копясь в заповедных островках мха -- скорее! откликнись! утоли!

О-о, надежда моя!

Дряхлый хирбед поднялся во весь рост, забормотал громче, вскрикивая весенним павлином; голос мага постепенно набирал силу...

Худайбег, словно замороженный, уставился на скалу, и Нахид-дэви последовала его примеру, ворча сытой львицей. Так они и стояли: высокий седой старец над пылающей жаровней -- а по бокам два могучих дэва, плавая взглядами скалу-недотрогу. Очертания каменной шлюхи дрогнули от страха, чуждого горам, испытанного ими впервые; скала заколебалась -- не подчиниться ли? -- поплыла расслабленной наложницей в бассейне гарема, жадно вдыхая волшебный дымок, сама становясь дымом, туманом, дурманом...

Абу-т-Тайиб с Утбой невольно подались вперед. И в этот момент жаровня волчком отлетела в сторону, брызжа от злобы искрами и раскаленными угольками. Гургин осекся на полуслове, бывшая хирбеди и силач юз-баши разом отвернулись от скалы -- что стряслось?! -- и скала вздохнула с облегчением.

Тупик.

Мертвый тупик, и никаких туманов.

Блудница отказала.

Перед Гургином стоял давешний рогач-великан, явившийся незванным прямо из второй скалы, рядом; и выпученные глаза со странной скорбью глядели на мага сверху вниз. Рогач постоял еще с минуту, затем подошел к скале Ал-Речат и уселся перед ней на корточки, мыча песню без слов.

Но за минуту до песни... это он пнул ногой жаровенку.

Он.

-- Что ж ты делаешь, шайтан рогатый! -- Абу-т-Тайиб первым обрел дар речи.-- Пшел отсюда, дубина!

Дэв замычал вдвое громче.

Гургин еле держался на ногах. Совершенно измотанный и опустошенный, он напоминал носильщика тяжестей после трудного дня; по лицу мага стекали капли пота, исчезая в темных ущельях морщин.

-- Дозволь, твое шахское, я его?..-- с надеждой осведомился Худайбег.

-- А я добавлю! -- поддержал Дэва хург, удобнее перехватывая секиру.

Без всякого намека на улыбку.

Судя по всему, рогатому нахалу в ближайшее время могло не поздоровиться -- если бы Гургин не разлепил спекшиеся губы:

-- Не надо. У меня все равно... старый я, владыка. Силы на исходе. Завтра попробуем еще раз.

Абу-т-Тайиб смачно плюнул под ноги рогачу и выругался. В случайности поэт верил слабо, особенно в такие рогатые случайности, которые шляются за тобой тенью, дорогу перегораживают... жаровни пинают. Е рабб, в третий раз припрется -- он, Абу-т-Тайиб, просто-напросто не станет удерживать Дэва с Утбой. Или... Как-никак, вот такие, рогатые, здесь хозяева, и не стоит раздражать их без крайней надобности.

А сейчас -- крайняя, или нет?

Поэт подумал и решил, что нет.

Он погрозил рогачу кулаком и, не глядя на спутников, первым полез вниз по откосу.
Обратно, в долину.

Глава седьмая,
где дэвы всех мастей гурьбой бродят за шахом,
их собратья мнут глину или носят воду,
дед и внучка рассказывают поэту много интересного --
а толку?

1

Весь оставшийся день Абу-т-Тайиб понуро мерял котловину вдоль и поперек.

В самом скверном расположении духа.

Гургина, к концу обратного пути буквально валившегося с ног, Дэв с Утбой под руки отвели во “дворец” -- отъесть и отсыпаться. А потом, видя, что шаху не до них, потихоньку убрались с глаз долой. Хотя поэт и подозревал: эта парочка наверняка крутится где-то поблизости. Подпоясавшись поясами служения и намотав чалмы верности, чтоб их... Пусть. На глаза не лезут, и хорошо. А за заботу -- спасибо, конечно...

Зато местные дэвы то и дело увязывались следом -- по одному, по двое, а порой и целой ватагой. Вначале Абу-т-Тайиб честно пытался отогнать жутких попутчиков, а потом махнул рукой: ходят -- и ну их. Тем более, что дэвы почтительно держались сзади, в разговоры не вступали и вообще всячески старались как можно меньше мозолить шаху глаза.

Что у них временами даже получалось.

Вот прицепились, отродья случайных связей! -- не уставал дивиться поэт, но дивиться вскоре надоело. Тучи мрачных мыслей роились в мозгу, противно жужжа: “Ж-жиз-знь! Ж-жаж-жда ж-жиз-зни! Ж-жуть!..”: и, стараясь уgomонить наглуую свору, Абу-т-Тайиб занялся осмотром долины, в которой ему, судя по всему, придется задержаться еще на несколько дней.

Пока не оправится старый маг, и они не попытаются снова открыть загадочный Ал-Рабат.

Вид мазандеранцев, занятых своими делами, тоже радовал глаз существенно меньше, чем “танец живота” в исполнении юной невольницы; но давал изрядную пищу размышлениям.

Да сами поглядите, чего зря ерзать...

Десятка два почти голых дэвов -- все без особых “украшений” вроде рогов, крыльев или суставчатых лап, а облезлые хвосты не в счет! -- в поте лица трудились на куцах огородах. Пололи, окучивали, разрыхляли; правили оградки. И в то же время близ огородов слонялось никак не меньшее количество откровенных бездельников, зато бездельников рогатых, крылатых и перепончатых.

Кстати, именно они и увязывались то и дело вслед за поэтом.

Из части пещер раздавался отчетливый стук. Наружу время от времени летела каменная крошка; не поленившись заглянуть в одно из таких жилищ, Абу-т-Тайиб обнаружил внутри двух дэвов-”огородников” -- те мучали бугристый потолок теслами, вместо молотка колотя по обушку собственными кулаками. На полу, подстелив драную циновку, сидел широкоплечий урод в чешуе; фыркал и топорчил усы, каждый длиной в локоть.

Поглядев немного, поэт двинулся дальше.

Близ ручья, под навесом, за неказистым гончарным кругом пристроился еще один дэв. Работа у него явно не ладилась: мало того, что разболтанный круг водило из стороны в сторону, будто пьяного гяура -- это еще полбеды, хороший гончар и на таком управится. Возможно, когда-то, в своей предыдущей жизни, дэв и был хорошим гончаром; но сейчас... Едва глина начинала приобретать

некое подобие формы, как корявые пальцы дэва клещами цепляли заготовку -- и вся работа шла насмарку. Дэв раздраженно хрюкал, отшвыривал прочь ни в чем не повинную глину, потом сидел истуканом, продолжая вращать ногой круг и глядя при этом в какую-то ему одному ведомую даль. Вздыхал, брал следующий кусок глины...

Абу-т-Тайиб приблизился. Его вдруг пронзила стрела любопытства: что мастерит бедолага? Поэт тихо встал за спиной гончара, наблюдая за работой. И, как ни странно, у дэва вскоре начало получаться! Пусть кривобокий, но в целом вполне приличный кувшин с широким горлом. Похоже, гончар и сам был крайне удивлен подобным успехом. С осторожностью ювелира он снял с круга готовый кувшин, поставил на плоский камень -- и залюбовался своим творением, на время позабыв обо всем.

Поэт кашлянул.

Косматая голова повернулась, скрипнув позвонками шеи; и взгляд голубых глаз упал на Абу-т-Тайиба.

Мгновение -- и вот дэв неуклюже растянулся у ног шаха.

-- Моя твоя... шаха благодари очень!

-- Да ладно, вставай!.. умелец. Только-только работа пошла -- а ты тут брюхом камни протираешь... Трудись, говорю!

-- Твоя правильный говори. Мудрый шаха! -- дэв встал, низко поклонился и с усердием принялся вертеть круг.

Здесь больше стоять не имело смысла... а где имело?!

Тянулись к ручью коренастые чудо-дэвицы; несли пустые бадьи и кувшины, возвращались обратно с полными. Их сестры и подружки собирали урожай на дальних огородах, а вон две старухи возьмется с одеялами, когтями выдирая из складок насекомых.

Абу-т-Тайиб прикрыл глаза и постоял так, вслепую, пытаясь представить себе ту же картину. Но с одним отличием: вместо дэвов весь этот круговорот обыденности творили люди. Простые люди. Ведь все, как у людей, вроде...

Странное дело! В представленной им картине люди были четко разграничены: феллахи в пыльных одеждах занимались земледелием; поодаль прохаживалась стража -- кожаные панцири, пики в руках... надсмотрщик бичом щелкает. Зато с женщинами вышла неувязочка: к ручью спускались сельские простушки рука об руку чуть ли не с султанскими женами: домотканая холстина и индийский кашемир, ковровые накидки и парча, шитая золотом...

А вот из-за скал выходит вереница гостей. Купцы? разбойники? -- у всех в руках и на головах красуются тюки, хурджины, ларцы со всяким добром.

Все-таки: торговля или грабеж?

Абу-т-Тайиб открыл глаза -- и в действительности увидел выбирающуюся из-за утесов вереницу исполинов, нагруженных разнообразной поклажей. Вот тебе и раз! Никак провидцем становлюсь?!

Дэвы местного каравана весьма смахивали на былых проводников к Мазандерану. Как их назвал тогда Худайбег? Добытчики? Похоже. Что ж это выходит: его, Абу-т-Тайиба, они тоже “добыли”?

А до него -- безумного Кей- Кобада?

Встретаться с “добытчиками”, даже для изучения добычи, мигом расхотелось -- и Абу-т-Тайиб свернул на неприметную тропку, уходившую в заросли кизила. Впереди, за поворотом, он различил тонкую струйку дыма, уходящую в безветренное небо -- и двинулся туда. В конце концов, шах он или не шах?! Значит, вполне может посетить любого из своих подданных, дабы... Нет, никаких “дабы”! Для шахов и душегубов закон не писан...

Говорят, правда, что для дураков -- тоже.

Вскоре тропа вывела поэта на поляну, скрытую от досужих взглядов кизилковыми деревьями. Под одним таким деревцем белела груда... груда... короче, в первое мгновение Абу-т-Тайиб решил, что это -- снежный сугроб.

Именно из сугроба и ползла вверх сизая струйка, которую поэт заметил еще с тропы.

А потом сугроб зашевелился -- и на шаха из-под кустистых бровей уставились два прозрачно-голубых осколка неба.

* * *

-- В гости пришел? Заходи,-- еле ворочая языком, произнес старый Олмун-дэв.

2

Вблизи поэт сразу учуял знакомый запах гашиша -- тот исходил из серебряного кальяна, покоившегося в косматых лапах Олмун-дэва. Тихо булькала вода в кальяне, запах дурмана смешивался с ароматом цветущего кизила, солнце грело, как греет душу удачно сложенный стих -- райские кущи, да и только. Только гурий не хватает! Да и то: даром гарему простаивать? -- сейчас кликнем...

Поэт тщетно пытался выдавить улыбку.

Шерстяной сугроб по имени Олмун-дэв долго молчал, время от времени вдыхая дурманящий дым.

-- Ты ее не гони. Тебе с ней хорошо. Будет. Хорошо...-- проговорил он наконец, с трудом возвращаясь на грешную землю из своих высей.

-- Кого -- ее? -- не сразу понял Абу-т-Тайиб, сразу подумав о Нахид и внутренне

содрогнувшись.

-- Внучку мою. Фарангис,-- сейчас дэв говорил правильно, медленно и старательно произнося слова. Только паузы делал не всегда там, где надо. Но от курильщика гашиша трудно ожидать красноречия; даже не будь он мазандеранцем.

-- Внучку?!

-- Да, шах. Внучку. Это я ее к тебе. Послал. Да она и сама. Была. Не против.

Казалось, голос Олмун-дэва доносится издалека, из облаков покоя и блаженства, где он сейчас пребывал.

-- Пусть к тебе. Поближе будет. Ей -- надо.

-- Да я, в общем, и не против,-- зардевшись, как юноша, чего с ним уже давно не случилось, сдавленно ответил поэт.-- Если только она сама не откажется. Зачем ей я?

Лицо горело, и было трудно не переминаясь с ноги на ногу.

Чудеса!

-- Ты ей. Понравился. Свет. От тебя. Может быть. Дети будут,-- Олмун-дэв снова на некоторое время замолчал, окутавшись гашишным дымом.-- Пока ты здесь. Всем хорошо. Дэвам. Если Фарангис. Рядом будет. Человеком останется. Совсем хорошо. Облака. Летят. Летят. Хорошо. Хочу туда... хочу.

Голубые глаза затянула туманная поволока, и только сейчас поэт до конца понял, насколько точное это слово -- “небоглазый”. Олмун-дэв был там, в вышине, слившись с лазурной далью -- и плыл вместе с пуховыми лебедями облаков, такой же снежно-белый и свободный от всего земного.

Потом осмысленное выражение вновь возникло во взгляде старого дэва. И поэт задал вопрос, который давно жег ему язык:

-- Почему вы цепляетесь за меня? Почему, Олмун? Ведь вы -- “небоглазые”, и фарр для вас -- пустой звук! Зачем я вам нужен? Дэвы липнут ко мне голодными мухами, ты послал Фарангис на мое

ложе... Зачем вам, изгоям, шах?

-- Не понимаешь...-- нараспев протянул старик.-- Хорошо. Я скажу. Ты видел нас. Дэвов. Какие мы. А ведь раньше. Мы были -- люди. Как все. Только глаза другие. А теперь... Мы глупеем, шах! Мы -- ладно. Плевать. Наши дети. Дэвтаги. Они родятся обычными. Многие умирают. Многие. Очень. Но потом. Те, кто выжил. Лет с тринадцати... У Фарангис шерсть появилась. Совсем недавно. Скоро у нее будет. Шерсть. Как у меня. И она станет дурой. Совсем. Я не хочу. Внучка. И другие -- тоже. Плохо. Душа... болит. Гашиш. Помогает. Ненадолго. Думаю лучше. Когда курю. У людей наоборот. А у дэвов...

Он жадно припал к черному, прокуренному мундштуку кальяна и сделал глубокую затяжку. Тучи набежали на небо в глазницах дэва, но поэт терпеливо ждал его возвращения из царства грез.

-- Тяжко... возвращаться,-- пробормотал наконец старик, с усилием приходя в себя.-- От тебя -- свет. Небоглазые не видят. Люди. Дэвы -- могут. Не все. Этот свет... лекарь. Лекарь разуму, о шах! -- во взоре Олмун-дэва полыхнуло яростное отчаяние, и призрак дикой, невозможной надежды.-- Разум -- рядом с тобой! Душа -- рядом! Ты нужен нам! Мы хотим быть людьми! Людьми, а не чудищами!

Абу-т-Тайиб мимоходом отметил, что речь Олмун-дэва становится более гладкой -- неужели действительно благодаря его присутствию?!

-- А те, кто моложе... наши дети, внуки... они вообще могут. Не стать дэвами! Остаться людьми. Или почти. Людьми. Как Фарангис. Она была умная. Очень. Для внучки дэва. Мне больно смотреть на это, шах! Но я ничего не могу сделать. Сам. Гашиш помогает. На время. А потом -- опять. И тут пришел ты. С твоим светом, который лечит. Ты нужен нам, шах! Если у Фарангис будет ребенок... от тебя. Он будет человеком! И у него будет свет! Он будет светить нам всем. Так было когда-то здесь, очень давно... пока не явился Меднотелый! И Фарангис... она останется человеком, с тобой. Совсем. Вчера и сегодня она была почти прежней! Не гони ее, шах!.. молю... облака... облака... хочу...

* * *

Старый дэв с кальяном давно остался позади, на поляне, вновь уйдя в свои заоблачные выси, а Абу-т-Тайиб все брел, не разбирая дороги, и мельничные жернова в его мозгу крутились быстрей и быстрей, перетирая зерно мыслей в муку отчаянья.

Значит, он несет не только зло? Значит, дэвы любят его отнюдь не по велению Златого Овна? Оказывается, сияние фарра целебно не для него одного...

Неужели -- правда?

Но ведь это фARR-ла Кабир, Златой Овен, сделал “небоглазых”-отступников такими, какими они стали! И что теперь? Остаться здесь, пытаясь помочь этим... людям? дэвам? По ночам любить Фарангис, а днем бездумно бродить по Мазандерану, не обращая внимания на плетущихся следом уродов, понимая теперь -- в чем смысл...

Аллах, дай силы! Посвятить остаток (возможно, еще очень большой остаток!) жизни бескорыстному самоотречению?!

Нет, он не святой в дырявом плаще-хырке, и не подвижник, бичующий себя провололочной плетью! Он поэт и бродяга, через год он просто рехнется в этой дыре, и никакие благочестивые размышления о долге, пользе и помощи ближнему не удержат мятежный рассудок в темнице черепа -- как не удержат его самого в пещерном городе под названием Мазандеран!

Да, ему жаль этих несчастных, да, он хотел бы помочь им, но никому не дано стать выше себя! Жить растением, полезным растением, дуреть от скуки и понемногу сходить с ума -- увольте! Рано или поздно он все равно не выдержит -- так не лучше ли сделать это сразу, пока зыбучий песок равнодушия ко всему на свете еще не поглотил его мятущуюся душу?!

О, Аллах! Вразуми и наставь на путь истинный непутевого раба твоего!

Да, он уйдет, уйдет, как только старый маг оправится и откроет свой Ал-Ребат. Уйдет к пещере Испытания -- и будь, что будет. Может быть... может быть, Олмун-дэв окажется прав, у Фарангис родится ребенок с фарром, и тогда...

Поэт понимал, что лжет самому себе; но другого выхода не было.

Это была жизнь с чужого плеча; это вновь был подарок, искушение, милостыня...

Абу-т-Тайиб хотел брать сам.

3

-- Это ты, Фарангис?

Шелковистая шерстка под ладонью, упругое тепло приникает к боку, тонкие руки, которые тут же начинают осторожно двигаться под одеялом...

-- Да, это я, мой шах.

-- Не называй меня так. Зови по имени -- Абу-т-Тайиб.

-- Разве у шахов бывают имена?

-- Бывают, Фарангис.

-- Странно,-- руки девушки на миг останавливаются; два теплых щенка, тычущихся в бок матери.-- Тот, другой, требовал, чтобы я звала его только "мой шах". Или, в крайнем случае, "мой повелитель"...

-- Кей-Кобад?! -- Абу-т-Тайиб резко сел.-- Ты была с ним?!

-- Была, мой... была, Абу-т-Тайиб. Олмун-дэв сказал: так надо. И еще я очень боялась... боялась стать такой, как все! Ты не прогонишь меня?

Тревога. Тревога и ожидание в дрогнувшем голосе. Девушка, почти девочка -- согласная пойти на все, лишь бы не превратиться в тупое чудовище!

-- Что ты, Фарангис! Нет, конечно,-- вздохнув, поэт вновь опускается на ложе и мягко привлекает внучку Олмун-дэва к себе.

А потом они еще долго лежали рядом, блуждая между сном и явью, и поэт успел подумать: “Зря, зря говорят, будто нельзя дважды войти в одну и ту же реку... глупцы.” Но едва он улыбнулся собственным мыслям, как ощущение сказочности происходящего исчезло, и поэт застонал от грубого явления реальности, словно от приступа зубной боли. Скоро он покинет Мазандеран, и эта девушка волей-неволей начнет спуск в общую пропасть, станет обычной самкой дэва... такой, как Нахид. И важно ли, что не появишься он здесь, роковые изменения случились бы еще раньше?! -- нет, это неважно.

Е рабб, он дал ей надежду -- а теперь уходит, забирая надежду с собой!

-- Что с тобой? Тебе плохо?... Абу-т-Тайиб!

Соврать?

Промолчать?

-- Скоро я уйду, Фарангис. Мне очень жаль, но я не могу остаться.

-- Ты останешься. Тебе не уйти отсюда, мой шах,-- поэт не видел в темноте лица девушки, но голос прекрасно выражал все то, что Фарангис и не пыталась скрывать: искреннее сочувствие и столь же искреннюю радость, что шах останется с ней!

-- Почему? -- поэт удивленно приподнялся на локте.

-- Тебя не выпустят.

-- Кто? Дэвы?

-- Дэвы. Стоголовый, Следящий и их подручные.

-- Погоди-погоди! -- остатки дремы упорхнули с век всполошенными голубями.-- Следящий -- это такой длинный... с бараньими рогами?

-- Нет, это Стоголовый. У Следящего -- крылья.

-- Стоголовый? Башка-то у него вроде одна...

Тихий смех, хрустальные колокольчики во тьме.

-- Голова у него одна. Но ему подчиняется сотня других дэвов. Бойцов.

-- А, юз-баши!.. ну да, это, собственно, и значит "голова сотни". Сотник, значит. Стоголовый...

Он еще сегодня утром жаровню Гургину перевернул! Выходит, это было не случайно?!

-- Не случайно. Ты нужен дэвам. И останешься здесь.

Абу-т-Тайиб тут же вспомнил четверку мазандеранцев, заступивших ему тропу и отказавшихся выполнить приказ.

Фарангис правильно поняла его замешательство.

-- Здесь, в Мазандеране, они сделают все, чтобы тебе было хорошо. Работники будут служить тебе, добытки принесут все, что ты захочешь. Если сумеют, конечно. Бойцы будут защищать тебя до последнего вздоха; женщины -- ублажать. Но уйти... уйти тебе не дадут. Так хочет Олмун-дэв. И так хотят все.

-- Олмун-дэв? Твой дед? Он здесь правит?

-- Нет. Просто дедушка -- самый умный. И знает, как надо.

-- А если попробовать договориться с твоим умным дедушкой? -- поэт еще надеялся решить дело миром.

-- Он не согласится. Ты нужен здесь. Нам всем.

Фарангис отвернулась, и они долго молчали.

-- И все же я попробую,-- медленно проговорил наконец Абу-т-Тайиб.-- Прости, девочка,-- я не могу остаться. Это не моя жизнь; понимаешь, Фарангис?

Она плакала почти беззвучно -- и у поэта впервые не нашлось слов.

Любые слова здесь казались орудиями пытки.

...На этот раз Худайбег, не слушая возражений хирбеда, усадил Гургина себе на закорки, чтобы сбечь его силы. Они им еще понадобятся, эти скудные стариковские силы! Нахид сама вызвалась тащить хурджин с жаровней и всем остальным, что могло понадобиться при открывании Ал-Ребата. Она дважды пыталась заговорить то со своим учителем, то с Абу-т-Тайибом,-- но вскоре, отчаявшись связать больше трех слов, умолкала. И все же это была не та Нахид, которая с воплем выбежала из “тронной залы” Мазандерана, отвергнутая поэтом. Исподволь, нехотя, ворча и сопротивляясь, разум вновь просыпался в ней, и взгляд Красной Дэвицы становился осмысленней.

Еще неделя-другая, проведенная рядом с шахом... не проснется ли вместе с разумом и былая ненависть?!

Абу-т-Тайиб запретил себе думать об этом.

Мелкий щебень выскальзывал из-под ног и шуршал по склону, уносясь вниз; край скалистой площадки, где они в прошлый раз пытались открыть Ал-Ребат, приближался медленно, но верно.

Еще немного -- и...

Их ждали. Стоголовый, угрюмо набычившись, стоял прямо напротив, и за его спиной корячились громады все тех же (или других?) исполинов, которые уже однажды заступили Абу-т-Тайибу путь в горах.

-- Уходите! -- это слово произнесли одновременно двое: Стоголовый и Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

-- Эй, твое шахское? Может, их тово... копьем? -- громко зашептал на ухо поэту Худайбег, ссаживая на землю мага.

Убивать не хотелось. Но есть ли иной выход? Поэт прикинул возможности обеих сторон. “Нет,

не осилим, -- пришел он к малоутешительному выводу. -- А если и осилим, то кого-то потеряем. Меня эти красавцы не тронут, зато остальных..."

Мостить дорогу из Мазандерана трупами друзей?! У шаха не бывает друзей! Не бывает?! Врешь, Гургин, врешь, Баркук-Харзиец! Вот они, мои друзья, стоят рядом со мной! И я не дам им лечь в могилы ради моих прихотей! Я -- плохой шах?.. да, плохой. Никудышный. Златой Овен ошибся в выборе. Настоящий Кей-Бахрам фарр-ла-Кабир послал бы любого на смерть, не задумываясь! Но почему же я тогда молчу?! Ведь Худайбег сейчас решит, что я согласен, и...

Уже решил!

Горло сковал спазм, челюсти окостенели, не желая раздвигаться, язык намертво присох к небу, рождая лишь дурацкое бляенье. Грудь вздымалась все чаще, воздуха не хватало -- какой там крик, продышаться бы всласть... всласть... всласть... власть!

Не встававший на колени -- стану ль ждать чужих молений? Не прощавший оскорблений -- буду ль гордыми прощен?! Тот, в чьем сердце -- ад пустыни, в море бедствий не остынет, раскаленная гордыня служит сильному плащом!..

-- Назад, Дэв! Назад!

Хриплый рык отшвырнул прочь Худайбега, уже готового броситься на Стоголовного.

-- Назад, я сказал! Не трогать их! Уходим...

Горло жгло, как если бы оно отведало расплавленного олова: смертельно. Проклятый баран, проклятый фарр проклятой страны -- что же вы все со мной делаете?!!

Ведь еще немного... е рабб!

* * *

-- ...Хочешь, я почитаю тебе стихи?

-- Стихи? -- восторг и удивление вспыхивают в ее голосе, переливаются искристым серебром на солнце.-- Конечно, хочу! А что это такое -- стихи?

-- Если б я знал это сам, Фарангис!.. тем паче я никогда не был силен в любовной лирике... Слова пришли сами.

-- Ты стоишь передо мною, схожа с полною луною,
С долгожданною весною -- я молчу, немея.

Дар судьбы, динар случайный, ветра поцелуй прощальный,
Отблеск вечности печальный -- я молчу, не смея.

Пусть полны глаза слезами, где упрек безмолвный замер --
Я молчу, и мне терзает душу жало змея.

Заперта моя темница, и напрасно воля мнится --
Не прорваться, не пробиться... О, молчу в тюрьме я!

Ты стоишь передо мною покоренною страною --
Укрошенным сатаною мучаюсь во тьме я!

Отвернись, уйди, исчезни, дай опять привыкнуть к бездне,
Где здоровье -- вид болезни, лук стрелы прямее,

Блуд невинностью зовется, бойня -- честью полководца...

Пусть на части сердце рвется -- я молчу. Я медлю.

-- ...это стихи? -- Фарангис очень осторожно погладила поэта по плечу.-- Твои стихи?

-- Увы, мои. Я же говорю: лирика мне не дается.

-- Ты все равно уйдешь,-- неожиданно звякнуло серебро.-- Я знаю. И никакой Стоголовый тебя не удержит. И я не удержу...

Тишина.

-- Если бы ты знала, девочка... Ты держишь меня тут куда сильнее, чем дюжина Стоголовых! Да, я уйду. Рано или поздно. Но пока я здесь, с тобой, и к чему жить будущим?! Хочешь еще стихов? Веселых, как ветер над рекой? Буйных, как табун в степи?! Хочешь?!

-- Да!..

-- Тогда слушай...

5

-- ...Есть другой Ал-Речат, точно есть! Чувствую я его! -- бормотал себе под нос Гургин, резво перебирая ногами и бросая по сторонам короткие острые взгляды -- словно ножами швырялся.

Волоски на знаменитой бородавке мага воинственно топорщились.

-- А ты, Худайбег, тоже чувствуешь? -- интересовался Абу-т-Тайиб. Все-таки, одна голова, пускай хирбедова -- хорошо; а две, особенно когда вторая -- Дэвова, с его нюхом на Ал-Речаты -- куда как лучше!

-- Чую, твое шахское, чую,-- отвечал в сотый раз Худайбег.-- Куда надо идем, это уж точно!

Торчали из расщелин сухие руки корней, не нашедших опоры, словно лапы добровольных тюремщиков: стой! ухвачу! сволоку в пропасть! Обломки скал псами бросались под ноги, грозно выл

ветер, налетая сбоку и норовя ударить, больно зацепить крылом, сбить дыхание -- казалось, сами горы не желают выпускать беглецов из своей утробы.

Но они шли.

Осыпи, предательские откосы текут реками щебня, тропа петляет, двоится, троится, издеваясь -- но две шахских собаки, большая и маленькая, безошибочно отыскивают путь в горном лабиринте, углубляясь все дальше и дальше в каменный хаос, уходя, уходя прочь от Мазандерана!

Абу-т-Тайиб едва не убил себя за подлую мысль о “шахских собаках”; и еще долго брел, стараясь не думать вовсе ни о чем.

Гургин резко останавливается, и ойкает Утба, едва не сбив с ног старого хирбеда.

-- Удача, мой шах,-- скупая улыбка мага похожа на милостыню скряги.-- Этот Ал-Ребат -- не в скале. Вот он, перед нами.

-- Угу,-- согласно кивает Дэв.

И даже Нахид бурчит невнятицу, тыча перед собой мосластым пальцем.

Поэт смотрит туда, куда указывает Гургин. Ничего особенного. Узкая расселина, след от удара меча Джибраиля, развалила ближний утес пополам. В расселину вполне может пройти человек -- а то и дэв.

Во всяком случае, Худайбег с Нахид наверняка пройдут.

По другую сторону расселины видны камни, каких везде -- хоть горстями гребн!.. и взьерошенные пучки травы упрямо лезут в щели. Тропа огибает утес, скорее всего, продолжаясь там, по другую его сторону, у выхода из расселины.

-- Ну так... пошли, что ли? -- неуверенно бросает поэт, и замолкает, устыдясь надежды в собственном голосе.

-- Двое,-- маг шепчет это на ухо, и шепот старца горячей кипятка,-- двое дэвов нас всех не

потянут, мой шах! Чтобы уйти вместе -- нужен ритуал открытия.

-- Но ведь сами дэвы ходят по твоим Ал-Ребатам, как по базарной площади! Ну, скалу заколдовать (при этом слове Гургин морщится), это еще понятно, а тут -- дыра дырой...

-- И мы выйдем из дыры по ту сторону утеса. Не более и не менее. А так может посчастливиться выйти к перевалу Баррах. Оттуда до пещеры Испытания уже рукой подать. Нельзя терять, не приобретая, мой шах! И наоборот. Это закон, хоть для людей, хоть для дэвов. Последние, например, без усилий отыскивают и используют Ал-Ребаты, даже не замечая этого. Поэтому ловить дэва в горах или пустынях -- дело безнадежное... Если только он сам не захочет послужить тебе проводником. Но я уже сказал, мой шах: два дэва не сvezут нас троих!.. да и Худайбег, к счастью, еще не совсем...

-- Я понял,-- угрюмо кивает Абу-т-Тайиб.

Нахид тем временем, сосредоточенно сопя, уже развязывает завязки жреческого хурджина. Пальцы упрямятся, противятся воле бывшей хирбеди, но вот бунт подавлен, и на свет является знакомая жаровня, огниво, бруски ароматного дерева... над всеми этими сокровищами парит улыбка Нахид, дерзкая улыбка, которой не место на чудовищной морде.

Ястреб кричит в небе; и бьются в припадках восторга цикады, рискуя охрипнуть.

-- Здесь легче будет,-- оборачивается к поэту маг, минутой ранее присевший у жаровни на корточки.-- Не скала -- дыра, как справедливо заметил мудрый владыка...

И, забыв обо всем, начинает возиться с огнивом. Пока Абу-т-Тайиб думает, что в последнее время слишком часто подозревает своего наиглавнейшего советника в скрытом издевательстве, над жаровней начинает куриться легкий дымок. Гургин всю бормочет заклинания, и на этот раз Стоголовый все-таки проморгал их побег, что хорошо, отлично, прекрасно и замечательно...

Уши мгновенно закладывает от дикого, оглушительного вопля, заполнившего мир, что называется, от Тельца до Рыбы. Вскрикнув от боли и зажав уши ладонями, поэт оборачивается.

Шагах в пятидесяти позади них на тропе стоят старые знакомые: Стоголовый, трое его дружков, а рядом раскорячился мохнатый бурдюк на кривых ножках. Бурдюк пыжится, топырит космы, раздувается жабой в предчувствии ливня -- и кошмарный звук вновь обрушивается на многострадальные горы.

Дэв Вайдос!

Оказывается, у рогатого сотника в запасе имелся еще один способ, как остановить беглецов!

Гургин шевелит белыми губами и беспомощно начинает ковыряться пальцем в ухе.

У ног мага медленно гаснет жаровня.

* * *

Абу-т-Тайиб потерял счет дням, в течение которых бесцельно бродил по долине, сопровождаемый почтительным эскортом дэвов; потерял счет ночам, когда любовные ласки перемежались рвущимися наружу бейтами -- странными, грустными и пронзительными, так не похожими на обычные строки поэта; потерял счет тщетным потугам уйти, вырваться из каменного мешка. В память отчетливо врезался лишь один случай: когда, озверев после очередной неудачи, он отшвырнул в сторону рвавшихся в бой Худайбега с Утбой, и наотмашь рубанул проклятого рогача своим ятаганом. Сталь до кости рассекла подставленную под удар лапу дэва -- и тот стал сосредоточеннолизывать рану длинным шершавым языком. Пытаясь унять кровь, что темным потоком хлынула наружу, Стоголовый глядел на рассвирепевшего шаха сверху вниз, глядел грустно, заранее прощая; и в голубых глазах дэва стояли печаль и понимание.

У Абу-т-Тайиба опустились руки.

А еще он помнил, как однажды утром к нему подошел его “пятнадцатилетний курбаши” и, с трудом подбирая слова, заговорил:

-- Я тут тово, твое шахское... думал я, вот. Долго думал. Не выпустят они тебя. А сам я тебя не выведу, хоть пуп надорви! Даже с махонькой... с Нахид. Вот ежели б я... тово... совсем дэвом стал, как они... Тогда бы смог, наверное. Только ты не серчай, твое шахское. Ежели я совсем дэвом сделаюсь... я тебя тоже отсель не пущу. Голова совсем дурной станет. Забуду все. Так что я уж лучше как сейчас. С тобой то есть, вместе. Чтоб не совсем тово... Вот.

Выхода не было, и поэт это уже понял, но, скорее по привычке, от безнадежности и неумения сдаваться, раз за разом повторял свои бесплодные попытки. Он почти смирился -- но не хотел признаваться в этом даже самому себе.

И, значит, еще не смирился до конца.

6

В тот раз Утба и Нахид не пошли с ними. Хург с самого начала разрывался на части, утешая местных невольниц, притащенных дэвами-добытчиками со всех обитаемых четвертей земного круга. К немалой радости бедняжек: одни чудища вокруг, бугаи несытые, а тут в кои-то веки сын Адама! Свободное же время веселый Утба посвящал утешению коренных мазандеранок, в чем также преуспел. А бывшая хирбеди просто куда-то запропастилась, и искать ее не стали. Все равно сегодня побег не предвиделся. Шли вроде бы без дела, прогуляться втроем: Абу-т-Тайиб, Гургин и Худайбег. Хотя на самом деле “прогулка” их имела подспудный смысл: вчера вечером старец шепнул поэту, что он, кажется, нащупал еще один Ал-Ребат. И открыться сие “междуместье” должно, вроде бы, полегче. Но соваться наобум глупей глупого, лучше сначала разведать, что да как, изучить путь -- и тогда, ночью, тайком...

Маг был многословен и бодр, отчего Абу-т-Тайибу становилось вдвое тоскливей.

Хоть передо мной-то не притворяйся, колдун колчерукий!..

Позади брели вразвалочку пятеро дэвов-стражей. Рогатого сотника с ними не было, но Абу-т-Тайиб не сомневался, что и этой пятерки достанет в случае чего сорвать им побег. Ну и тащитесь, дети мятежа, шайтан с вами!.. все равно ведь не отвяжетесь!

-- Вот здесь, мой шах,-- Гургин остановился напротив грота, потолок которого украшали, сочась влагой, сосульки сталактитов.-- Верно, Худайбег?

-- Угу,-- Худайбег задумчиво вертел в лапах свою “Сестру Тарана” и словно прислушивался к чему-то.

-- Совсем прямой Ал-Речат! -- с натужной радостью сообщил маг.-- Ай, какой прямой -- хоть босиком ходи!

Фальшивая бодрость старика, равно как и хватки рыночного зазывалы, совсем вогнали поэта в тоску.

А знакомый вопль, эхом раскатившийся по горам -- в глухоту; и лишь изрядное расстояние до чинары с Вайдосом отчасти сберегло на этот раз уши путников.

-- Стряслось чего-то,-- буркнул Худайбег.-- Народ кличет.

-- Ну и пусть хоть разорвется! -- не сдержался поэт.-- Лишь бы не по наши души...

Он обернулся -- и застыл, не веря своим глазам. Тропа позади была пуста, только где-то за поворотом удалялся топот пяти пар исполинских ног.

-- Ушли...-- выдавил Абу-т-Тайиб; и тут до него дошло, что это значит.

Путь свободен!

-- Гургин! Мудрец ты мой любимый! Открывай Ал-Речат! Скорее! -- срывающимся от волнения голосом закричал поэт, будто собираясь соперничать с Вайдосом.

Вялость и безразличие, свившие гнездо в его сердце, стрелой улетели прочь.

-- Жаровня... Огниво... Священное дерево...-- выдавил Гургин, разом растеряв всю бодрость.-- Мой шах, ведь...

-- Здесь оно! -- радостно гаркнул Худайбег, скидывая с плеча хурджин и, не справясь с завязками, попросту разорвал их.-- Здесь, говорю!

И зарделся, когда шах Кабира ухватил его за уши и звонко расцеловал в обе щеки.

Старик торопился, словно за ним гналась свора шайтанов. Нетерпеливое возбуждение шаха передалось всем. Жаровню раздули в считанные минуты, и тогда Гургин, разом успокоившись, взял себя в руки -- сказывался опыт, приобретенный жрецом за его долгую жизнь. Он принялся читать свои заклинания, а рядом с ним могучий юз-баши плавил взглядом кромешную тьму грота.

Наконец маг умолк, и в воздухе повисла гулкая тишина; лишь потрескивала жаровня, да тяжело сопел Дэв.

В гроте насмешливо стучала капель.

-- Ал-Речат открыт, мой шах,-- голос Гургина звенел от напряжения.-- Мы можем идти, если шах желает.

-- Шах желает! -- поэт еще подумал, что такого разочарования не перенесет.-- Скорей!

Худайбег голой рукой подхватил с земли раскаленную жаровню и первым шагнул в темноту. Абу-т-Тайиб, не колеблясь, последовал за ним.

Шаг.

Другой.

На третьем шаге мир мигнул -- и по глазам полоснуло солнце.

-- Мы на перевале Баррах! -- торжественно объявил Гургин, возникая позади поэта прямо из воздуха.

Бескрайняя синь горного неба раскинулась над головой, сколько хватало взгляда, вниз убегала каменистая змея тропы, на горизонте белела снежная вершина Тау-Кешт, а по правую руку в глубокой долине раскинулся город.

Медный город -- его Абу-т-Тайиб узнал сразу.

-- Ты, твое шахское, брось,-- бормотнул рядом Худайбег,-- брось это дело... ишь, вздумал, плакать-то...

* * *

-- Е рабб! Тысяча шайтанов! О Аллах, прости мой скверный язык! Мы не можем оставить там хурга и Нахид!

“И Фарангис! -- мысленно добавил поэт.-- Надо было забрать и ее! Ведь если она все время будет рядом...”

-- Проклятье! Я возвращаюсь за ними!

-- Опомнитесь, мой шах! -- старик был близок к истерике.-- Пошлите за ними вашего юз-баши!

-- Меня пошли, твое шахское! Я их приведу! -- верный Дэв грохнул в грудь кулачищем.

-- Ведь им нужен именно шах, его фарр! -- хирбед уговаривал упрямого владыку, как ребенка.-
- А Худайбега никто удерживать не станет! На кой он им?!

-- На кой я им?! -- еще один удар кулака в грудь.

Умом поэт понимал, что Гургин совершенно прав, что надо отправить в Мазандеран одного Дэва, а Нахид вообще лучше никуда не забирать...

Мучило другое: что, если Худайбег, оторванный от него и его фарра, начнет стремительно превращаться в чудовище? Что, если он забудет все и вся, навеки оставшись в каменной ловушке Мазандерана?! А вместе с ним -- Утба, Нахид... Фарангис!

-- Прости меня, Гургин. Я уже говорил тебе, что я -- плохой шах. Там, где любой правитель отправил бы вперед слугу, мне проще идти самому.

-- Ага, разогнался! -- в отчаяньи Дэв совсем забыл, кто есть кто.-- Сам он пойдет... без меня никуда -- понял, твое шахское? И не надейся!

В эту минуту “пятнадцатилетний курбаши” был до невозможности похож на Стоголовного.

-- Воля шаха -- закон,-- безнадежно развел руками хирбед.-- Отсюда я смогу держать Ал-Речат открытым около суток -- здесь дэвы не в силах помешать мне. Но на большее меня не хватит... это так, мой шах -- даже владыкам неподвластен возраст. Поторопитесь.

Абу-т-Тайиб кивнул, сглотнув горький комок, и вслед за Дэвом шагнул в мигнувшую пустоту.

КАСЫДА О ЛЖИ

Это серость, это сырость, это старость бытия,
Это скудость злого рока, это совесть; это я.

Все забыто: “коврик крови”, блюдо, полное динаров,
Юный кравчий с пенной чашей, подколотная змея,

Караван из Басры в Куфу, томность взгляда, чьи-то руки...
Это лживые виденья! Эта память -- не моя!

Я на свете не рождался, мать меня не пеленала,
Недруги не проклинали, жажду мести затая,

Рифмы душу не пинали, заточенные в пенале,

И надрывно не стенали в небе тучи воронья.

Ворошу былое, плачу, сам себе палач и узник,
Горблю плечи над утратой, слезы горькие лия:

Где ты, жизнь Абу-т-Тайиба, где вы, месяцы и годы?
Тишина. И на коленях дни последние стоят.

Глава восьмая,
залитая кровью и оглушенная криками,
прибежище удивительных встреч и дивных разговоров,
где вопреки очевидному напрочь отсутствуют порицания
в адрес безбожников-дахритов, полагающих мир вечным,
а не сотворенным Аллахом все милостивейшим и милосердным!

1

...поначалу Абу-т-Тайиб решил, что верный Дэв-проводник ошибся. Спутал место и время, взамен Мазандерана случайно выйдя к земле Божьего гнева. Открывшееся зрелище более всего напоминало истребление оскорбленным Аллахом (славен Он!) языческих племен Ад и Самуд, дерзких исполинов, отвергнувших сладкоречие пророков Худа с Салихом и убивших верблюдицу последнего. А так, если не поминать все нечестивых адитов и самудян, все прежнее -- котловина, извилистая дорога вниз, по которой он не так давно спускался навстречу неизвестности и

гостеприимству дэвов, речушка-подросток плещет волнами... разве что русло запружено трупами, и вода ярится, бьется о страшные пороги, ища выхода из западни.

Пахло кровью. Пахло бойней, насильно распахнутым чревом, насильно отворенными венами, насильно подрубленными сухожилиями... насилием пахло.

И кружилась голова, хотя Абу-т-Тайиб никогда не отличался особой брезгливостью или малодушием.

-- Да что же это? -- бормочет рядом Дэв, и в хриплом рыке юз-баши щебнем катаются тайные всхлипы, стон потрясенного мужчины и рыдания обиженного ребенка.-- За что, твое шахское?.. за что?!

-- Молчи! -- обрывает его поэт.-- Молчи, говорю! И держись рядом. Как бы дело ни обернулось -- рядом! Понял?!

Абу-т-Тайиб начинает медленно спускаться туда, в царство Разрушительницы наслаждений и Разлучительницы собраний, в обитель смерти, некогда звавшуюся Мазандераном. Медленно, ибо ноги не держат, подкашиваются, а идти все равно надо. Он знает, что мгновением раньше был несправедлив к своему спутнику. Как несправедлив отец, затрещиной отшвыривая малыша от края пропасти. Как несправедлива мать, когда изо всех сил стегает чадо веревкой, даже не дав опасно приблизиться к песчаной эфе, греющейся на солнышке. Так надо. Надо идти, надо держать спутника на коротком поводке верности и послушания, не давая привязи лопнуть. Еще не хватало, чтобы Дэв с воплем ринулся вниз, истово размахивая “копьем”, захлебываясь горьким хмелем мести, убивая, убивая, пока шальной удар не вобьет ему в глотку и месть, и саму жизнь.

Абу-т-Тайиб знает, что он прав.

Ему даже не нужно слышать громоподобного клича, взметнувшегося навстречу:

-- Слава! Слава Кей-Бахраму!..

Слышать не нужно, но и не слышать тоже нельзя.

Из нор, из разоренных ласточкиных гнезд, торопливо ползя по уродливым трупам бывших обитателей, выбираются муравьи: черные, блестящие, только что они шарили в глубине, копошились, ища вожделенную добычу -- и вот уже муравейник вскипел забытым на огне котелком, ибо добыча идет к ним сама.

Искать больше не стоит.

-- Слава!.. о-о, шах...

Муравьи остро пахнут волками.

“Волчьи дети”.

Они бегут навстречу, спотыкаясь, захлебываясь счастьем обретения, как бегут сыновья к вернувшемуся из долгих странствий отцу; но останавливаются на полпути. Счастье на бородатых лицах исподволь сменяется пониманием, и взгляды, где еще недавно плескалось бешенство и упоение справедливым боем, наполняются тихим сочувствием. Они расступаются, не добежав; они дают дорогу, застыв изваяниями в помятых доспехах. Владыка скорбен. Владыка не в настроении. Владыка хочет одиночества. Еще бы! -- после долгого плена, после общества отвратительных чудовищ, после заточения и скорби душевной... Носителю фарра надо дать прийти в себя. Главное сделано: шах спасен, а будущее навсегда осенено знаменем благоденствия.

Это так; мы знаем, что это так.

Мы все знаем.

Впереди поэта бежит Златой Овен, весело топоча копытцами по бурой от крови гальке; баран трясет курдюком и поминутно дергает ноздрями, с жадностью втягивая запах гургасаров-освободителей. Волчий запах. Хищный. Домом пахнет... Поэт нагибается за камнем, но рука отказывается бросать: там, где остановился проклятый баран, скорчилось маленькое тело, и лепестки мушмулы тихо осыпаются на золотистую шерстку.

Рядом валяется кувшин; бесформенный кусок меди, смятый солдатским сапогом.

-- Ты лежишь передо мною мертвой бабочкой ночью,
Неоправданной виною -- я молчу, немея.

Отливают кудри хною, манит взор голубизною,
Но меж нами смерть стеною -- я молчу, не смея...

“Вот где славно умереть,-- шепчет в ухо насмешница-память, и горячий этот шепот обжигает сознание, на миг пробуждая страстное желание ударить наотмашь и уйти навсегда, но увы! - этого блаженства шаху не дано, а самоубийство есть тягчайший грех перед Совершеннейшим Благотворителем.-- Вот где славно... славно... Умереть и быть похороненным. И чтоб ветер осыпал на могилу пригоршни лепестков, а река смеялась... Е рабб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока!”

Златой Овен блеет, запрокинув рогатую голову, и бежит дальше.

А камень выпадает из пальцев поэта.

Расталкивая “волчьих детей”, вперед выходит широкоплечий воин: латы в двух местах надорваны, будто не металл рвали чужие когти, а гнилую ветошь, ноги забрызганы до колен, чьи-то волосы прилипли к сапогам, и тяжелая сабля щукой ныряет в ножны... Воин падает ниц, прямо в растоптанную требуху, и замирает недвижимо.

Перед шахом.

-- Встань,-- скрипит колодезный ворот, который нерачительные хозяева забыли смазать маслом.

Воин послушно встает. На нем знакомый пояс, и еще вокруг шлема знакомый венец-кулах -- россыпь жемчужин по зубчатому обручу; каждая третья или пятая -- черные.

Капли адской смолы.

Лицо воина чужое: твердые скулы, твердый взгляд, рот сжат твердо и упрямо, а по углам рта залегают складки опыта и решимости.

В черной бороде пробивается первая седина; первый иней грядущей зимы.

-- Здравствуй, юноша, подобный блеску молнии во мраке,-- надрывно скрипит колодезный ворот, и в лице воина на миг пробивается робость бывшего шах-заде, того мальчишки, что честно рубил ненавистного оскорбителя в Медном городе, а потом так же честно плакал перед этим оскорбителем в бане, не смея поднять головы.

-- Теперь можно умирать,-- отвечает Суришар, и глаза шах-заде блестят слюдяными озерами, но ни одна капля не срывается с ресниц.-- Клянусь Творцом, можно...

Он переживает спазм, мешающий ему говорить, и завершает:

-- Потому что владыка наконец свободен. Свободен от пятилетнего плена в краю ужасных дэвов. Слава!

-- Слава! -- отзывается слитный хор многих глоток.-- О-о, шах... наш шах...

Поэт даже не удивляется “пятилетнему плену”. Если Суришар так говорит, значит, это правда. Время ничего не значит, и расстояния ничего не значат; и вообще ничего не имеет значения, если оно снаружи, а не внутри. Поэт глядит внутрь, туда, где варом клокочет бессильная боль; и тесно зажмуривает глаза души.

Нет сил.

-- Скорбь владыки билась в наши сердца,-- продолжает меж тем Суришар, Суришар-дэвоборец, Меднотелый Суришар, герой и витязь.-- Мечты владыки о свободе не давали нам спать по ночам. Темные земли, проклятые от века, тряслись под копытами наших коней; темные существа, недостойные жить, корчились под ударами наших мечей. Мы дошли, и владыка поведет нас обратно. Домой.

-- Домой...-- бормочет поэт.-- Домой...

Слово горчит на вкус, будто оно не слово, а вяжущее растение мирар, от которого у верблюдов выворачиваются губы.

И насмехается с кручи Златой Овен, бодая труп седого мохнача, чья шерсть заплетена в щегольские косички даже на животе.

Олмун-дэв молчит, ибо мертвым все равно, кто их бодает.

Чудовищным усилием Абу-т-Тайиб подавляет в себе желание шагнуть вперед и взять Суришара за глотку. Не поможет. Да и мальчишка не виноват... впрочем, какой он теперь мальчишка?! Пять лет, говорите, прошло? -- да, пять лет трудов ратных, пять лет сплошных подвигов во имя заточенного владыки... Е рабб, здесь есть лишь один человек, которого действительно стоило бы брать за глотку! -- вот он, сей человек, бездарный рифмоплет, покинутый Аллахом! Ведь это его желание оставить Мазандеран, его тяга к свободе, к бегству от упрямых дэвов -- это и только это дотянулось до Кабира! Ухватило Суришара за шиворот, превратило щенка в героя, кинуло с полком гургасаров в стремнину безнадежных поисков... и ведь нашли, добрались, победили!..

Цена победы видна: меж трупами дэвов немало убитых гургасаров.

Абу-т-Тайиб глядится, смаргивая предательские слезы: почему он не заметил этого раньше? Вон подле заколотого дэва лежит мертвец: голова покрыта бедуинским уккалем, в руке зажата сломанная альфанга... Дальше еще один труп -- и налобник адийского шлема украшен изображением черного орла, символом Бану Абс. А за спинами "волчьих детей" сгрудилось не меньше полусотни истинных фарисов -- бойцов пустыни, каких поэт многожды видел в жизни, что была до самума и пещеры Испытания.

Смуглые лица бесстрастны, будто не бой остался за плечами фарисов, а тихий вечер в кругу домочадцев; будто не удивительные земли вокруг них, а знакомый до мелочей оазис с водопоем; будто не неизвестность впереди, а безопасный путь домой.

Впереди бедуинов стоит чернокожий предводитель, опираясь на длинное копье.

Тот самый, кто являлся Абу-т-Тайибу в колдовском киселе скалы, когда пятеро дэвов отражали налет дерзких всадников.

Они смотрят друг на друга, не отводя взгляда: Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, рожденный в триста втором году от бегства пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) -- и Антара Абуль-Фаварис, Отец Воителей, ничего и никогда не слышавший о пророке Мухаммаде, которого какой-то Аллах должен за что-то благословлять и приветствовать.

Пятьсот лет разницы смотрят друг на друга, Эра Истины и Эра Невежества; и окружающие их существа, живые и мертвые, не видят в этом ничего удивительного.

А сам поэт предпочитает не вспоминать, что в свое время мечтал о встрече с живой легендой песков, с самим Антарой-Губошлепом, мечтал страстно, терзаясь неосуществимостью грез. Сейчас он готов молиться об одном: чтобы Господь миров лишил его способности мечтать и стремиться. Слишком часто желания выворачивались наизнанку, слишком часто они исполнялись, исполнялись так, что воздух пах кровью, а плащ безрассудства бился за плечами сумасшествия... Радуйся, несчастный! Пой песни, пляши, вскидывай пятки к горбатуму небосводу, ликуй великим ликованием!

Получи! -- ты же этого хотел?!

Антара передает копье стоящему рядом бедуину и идет к Абу-т-Тайибу.

Приблизясь, он опускается на одно колено.

-- Пусть враг никогда не попользуется твоим огнем, о царь джиннов Сальхаб ибн Акхаб!

-- звучный голос Отца Воителей раскатывается над котловиной смерти.-- Счастлив тот день, когда я встретил тебя в облике вороного коня, заточенного в тайных подземельях, и освободил от плена, взяв клятву помочь мне в поисках убийц моего сына!

Поэт затравленно озирается.

Нет.

Никакого царя джиннов со странным именем Сальхаб ибн Акхаб поблизости не наблюдается.

-- Э-э-э... Отец Воителей обращается ко мне? -- осторожно интересуется поэт.

Вести такой разговор при Суришаре и “волчьих детях” весьма неловко. И еще: все время приходится краем глаза следить за Дэвом -- как бы парень в отчаянии не натворил глупостей!

Е рабб, они слепы, они честно не замечают сходства юз-баши с чудовищными трупами вокруг!
Или слеп только шах?

-- А к кому же еще?! -- в свою очередь удивляется чернокожий предводитель.-- Кто, как не ты, следил из огненного столба за подлым убийством моего первенца Гадбана?! Кто, как не ты, встретил меня и моих воинов на Сарихской равнине во главе войска джиннов в облике человеческом?!

И рука Антары указывает на молчаливые ряды гургасаров.

-- Кто, как не ты, распахнул пред нами вихрь, позволивший нам явиться сюда; и кто, как не ты, достал золотую палочку и намазал волшебной сурьмой глаза мои и глаза спутников моих, дабы мы увидели врагов наших в их истинном облике, от которого волосы встают дыбом и седеют трехнедельные младенцы?! И наконец...

Антара выхватывает из ножен меч; но не для удара, о котором поэт втайне молился.

-- И наконец: кто, как не ты, подарил мне свой колдовской клинок по прозвищу аз-Зами, что значит “Горе Сильных”, дабы я успокоил боль моего сердца и поразил убийц Гадбана?!

-- Кто, как не ты?! -- слитным эхом отзываются бедуины за спиной чернокожего Антары.

-- Кто, как не я? -- пожимает плечами шах Кабира.

Он узнал меч в руках Антары. Кривой машрафийский меч, изготовленный оружейниками Йемена, оплаченный блюдом полновесных динаров -- и похороненный вместе с мумией в бархане-мавзоле.

Он только... впрочем, неважно.

Антара, Отец Воителей, растягивает в улыбке эфиопские губы, сверкая жемчугом зубов.

-- Мой жребий высок,-- смеется он,-- и ушла в песок кровь недругов Антары!
-- Но жизнь -- не кусок,-- ответ Абу-т-Тайиба рождается сам, рождается в крови и нечистотах,
как любое дитя,-- подхваченный псом, не мяч для веселой игры...
Черное лицо становится серьезным; очень серьезным.
-- Прибежищу лжи бессмысленно жить, бессмысленно длить года!
-- Но, мудрый, скажи: хоть мы -- миражи, неужто уйдем без следа?!
-- Пир сильного -- бой! Рискаю собой, заслужим в веках хвалу!
-- Но крови прибой утопит Любовь, наткнувшуюся на стрелу...
-- К чему этот стон? Один или сто -- позорно врагов считать!
-- Но, явь или сон, он определен -- твой жребий, за пядью пядь! И полно мечтать о том, чтобы
спать -- придется когда-то встать...

Антара, Отец Воителей, умолкает и долго разглядывает царя джиннов.

-- Прощай,-- наконец говорит чернокожий.-- Если буду нужен -- позови. Я у тебя в долгу.

Он машет своим людям, и бедуины идут к коням, легко прыгают в седла -- чтобы медленно двинуться по склону вверх, туда, где воздух закручивается удивительным вихрем, так похожим на приближение самума, из которого нет возврата.

-- погоди,-- кричит вслед поэт.-- погоди, Антара!

Только что Абу-т-Тайиб вспомнил, вспомнил отрывок из "Сират Антара", эпизод жизни чернокожего бойца, истинный или придуманный,-- но раньше он всегда слушал эту историю, попевывая.

Раньше; но не теперь.

-- Да погоди же! Ответ: правда ли, что один из твоих недругов возил по пустыне барана с позолоченными рогами и требовал от вольных племен поклонения этому барану?!

-- Правда,-- улыбается Отец Воителей, подбоченясь в седле.-- Истинная правда, о царь

джиннов!

-- И что ты сделал с проклятой тварью?!

-- Я накалил на огне жало моего копья и прижал к глазам твари, после чего они лопнули!

-- Я не о человеке! Я о баране! Что стало с ним?!

-- Баран? -- искренне недоумевает чернокожий.-- Баран убежал. Стану я гоняться по пескам за каким-то бараном...

И с кручи весело блеет Златой Овен.

2

Тучи собирались над растерзанным Мазандераном, косматыми бурками плотно укутывая небо; тучи напоззали с востока, с запада, с севера и юга они напоззали тоже, отовсюду, со всех сторон света, в котором света было разве что на медный фельс больше, чем тьмы, и то сомнительно; медленные отары, стада ливня, табуны гроз,-- но пастух еще не взмахнул бичом, разорвав морок тишины ветвистым зигзагом, и водяные змеи медлили, не спеша обласкать исковерканную землю, живых и мертвых, мертвых и живых, а есть ли разница между первыми и вторыми, известно не всякому...

Тучи.

В небе.

Высоко... не достать, не дотянуться.

Шкурами выстлана былая синева, блеск глаз неудачников.

“Они не виноваты,” -- беззвучно вымолвил Дэв, или только подумал; или только собрался подумать.

“Они не виноваты,-- песчинка в каменной чаше, плоть от плоти убийц и убитых, душегуб и

солдат, ребенок и чудовище.-- Они просто любят тебя, твое шахское... любят. Как я.”

“Они просто...-- пальцы на древке огромного копья ерзают, словно не находя себе места, и ерзают “волчьи дети” под внимательным взглядом могучего юз-баши, переминаются с ноги на ногу, потупив взоры.-- Нет. Не как я. По-другому. Но это не важно, твое шахское... важно, что любят. Вот.”

“Ты не бойся за меня, твое шахское. Я не пойду их убивать. Ты за себя бойся, отец...”

В этот день Худайбег аль-Ширвани, “пятнадцатилетний курбаши”, стал взрослым.

Здесь, в Краю Дэвов, где трупы перемешались с трупами, и не было меж ними отличия для сведущего.

* * *

Шах-заде Суришар стоял перед возлюбленным владыкой, и душа его, душа не мальчика, но мужа, плавала в приятной опустошенности.

Душа пела.

Три года он жил жизнью властных: наместник Кабира соизволением обладателя фарра, чье слово -- закон, а взгляд -- повеление; держава процветала, и Суришар спал ночами без сновидений, подобно утомленному за день пахарю. Он знал: где-то есть венценосный владыка, где-то идет за своей прихотью символ государства, дыша полной грудью, пребывая в благополучии, как он это себе понимает -- и оттого цветет Кабирское шахство розовым кустом!

Он знал.

И два года он жил жизнью сильных: Волчий Пастырь, спяхбед воинов в серых плащах, покоритель земель неведомых, призраков невидимых и чудовищ ненавидимых. Его гургасары шли за полководцем в огонь и в воду, они рыскали обезумевшей стаей, терзая молчаливых, сокрушая упорных, пытками вынуждая колдунов открывать тайные двери; где ты, Край Дэвов?! -- я иду, ибо

ощутил зов плененного владыки, и его неистовая тяга к свободе колотится о мое сердце!

Он шел.

И еще пять часов он жил жизнью верных: мститель, он рубился в первых рядах, заставляя изумиться даже бесстрастных союзников, явившихся из ниоткуда, без чьей поддержки, без чьей ярости и безумия лежать сейчас гургасарам вкупе со спахбедом в каменной чаше страшным приношением. Уроды-исполины падали под мечом Суришара, скрипели кожистые крылья, рассекаемые синим высверком стали, плакали раненные утесы, осыпаясь кровавым щебнем, и вой сотрясал горы окрест, дикий гимн победителя.

Он сражался.

И еще полчаса он жил жизнью счастливых: господин стоял перед слугой, свободный шах перед освободителем-героем, и путь домой был открыт.

Он радовался.

Так отчего же ты не в силах опустить взор, Суришар Меднотелый, о ком еще только сложат песни?! Отчего ты смотришь на своего владыку в упор, взглядом неподобающим, и губы твои шевелятся сами собой, будто дерзкие слова щекочут их кончиком голубинового пера, и умирают, так и не родившись? Что видишь ты, шах-заде, потерявший юность в поисках и битвах?!

Что ты видишь?

Лик обожаемого господина на миг уплыл куда-то вбок. На его месте вдруг возникло совсем чужое, незнакомое лицо, сплошь заросшее кудрявой бородой; горбатый нос сморщился, шевельнулись густые усы, и в ушах Суришара прозвучало отзвуком запредельного:

-- Если вы в затруднении... о-о, если вы в затруднении, то ищите помощи у покоящихся в могилах!.. ищите... в могилах...

Нет, кабирский шах-заде никогда не слышал хадисов -- преданий о жизни и воззваниях пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!); но странный смысл почудился ему в

услышанном.

Шах Кей-Бахрам стоял перед названным сыном: на голову выше любого из гургасаров, могучие плечи гордо расправлены, весь облик дышит силой и спокойствием,-- но сквозь владыку, как проступает блеск оброненной монеты через толщу воды, проступал совсем иной человек. Шрам на шее, и на скуле, и еще вот здесь, под ключицей, часть зубов выбита, и ухмылка от этого кривая, жестокая ухмылка, а ноша возраста давит нещадно, будто верблюда нагрузили двойной поклажей, только упрямый горбач идет себе по пустыне, идет на гордости и умении мерять пески, а больше ни на чем. Тот бродяга, что вышел из пещеры Испытания, тот боец, что гонял шах-заде в грязи Медного города, певец, гораздый подхватывать и завершать; прошлый, забытый, ушедший... Оказывается, он никуда не делся! Оказывается, он всегда был здесь, но прежний Суришар не видел его, или не хотел видеть; или не умел...

И прежний был многожды опасней нового.

Мысль показалась совсем уж еретической, ее просто-напросто не могло родиться, этой мысли...

И как же было хорошо, когда владыка увлекся разговором с чернокожим союзником, а потом долго провожал последнего взглядом, давая отдышаться Суришару, Суришару-дэвоборцу, Меднотелому Суришару, герою и витязю!

А тучи все копились в небе над Мазандераном.

3

...подбежав, десятник гургасаров припал на одно колено. Плечо “волчьего сына” было наспех замотано грязной тряпицей, и сдавленный стон нет-нет да и прорывался сквозь стиснутые губы.

-- Говори,-- машинально вырвалось у Суришара, и шах-заде вздрогнул. Привычка командовать

въелась в плоть и кровь, дергая за язык раньше, чем следовало бы в присутствии повелителя -- но, кажется, все обошлось. Названный отец стоял, равнодушно глядя на десятника, и не проявлял признаков раздражения.

-- Там... там...-- десятник никак не мог начать. Храпел загнанной лошадей, сбивался.-- Там... я нашел его под одеялами...

-- Кого? -- осведомился Суришар, а шах лишь хрипло расхохотался.

Будто в Краю Дэвов под одеялами в пещере можно обнаружить бабушку султана Баркука!

-- Дэва, владыка мой! Дэва, Пастырь мой... раненый, он прятался...

-- И ты полагаешь эту новость достойной ушей шаха? Почему ты просто не добил эту мерзость, глупец?

Суришар кривится. Распекать десятника противно. Позор! -- вести такие разговоры в присутствии обладателя фарра... Позор давать повод упрекнуть “волчьих детей” в малодушии.

Десятник заслужил наказание.

-- Я... рука не подымается... я старался, владыка! -- последнее адресовано непосредственно шаху.-- Я старался! Но... колдовство, наверное!..

-- Неси его сюда, твоего дэва,-- приказывает шах.-- Живого неси, слышишь?

И десятник, кликнув еще троих воинов, убегает.

Вскоре они возвращаются, неся на копьях, застланных плащами, чье-то тело.

Импровизированные носилки ложатся в грязь перед владыкой Кабира и его спяхбедом-освободителем; стонет существо поверх плащей, и десятник невольно отступает назад, сдержав собственный стон.

-- Кто это? -- неприятным голосом интересуется Кей-Бахрам у своего названного сына.-- Кто это, Суришар? Как полагаешь?!

Шах-заде равнодушно пожимает плечами.

-- Дэв, мой повелитель. Кто же еще?

Владыка пристально вглядывается в лицо Суришара -- так он вглядывался тогда, в бане, назначая юного шах-заде Волчьим Пастырем: жестокое любопытство плещет в глубине взора, вынуждая смотреть в землю и чувствовать, как уши позорно багровеют.

Стыдно.

-- Дэв, говоришь? Ладно... Скажи мне: ты хорошо помнишь моего предшественника, покойного шаха Кей-Кобада?

Суришар улыбается. Владыка просто расположен к разговору, к тихому, спокойному, ни к чему не обязывающему разговору. А потом они поедут домой...

-- Разумеется, мой повелитель! Я прекрасно помню прежнего шаха!

-- И этот дэв, по-твоему, нисколько не похож на их солнцеподобность, великого Кей-Кобада?! Или ты просто расчесываешь гребнем зломыслия бороду коварства, скрывая очевидное?

Суришар позволяет себе улыбнуться шире.

А гургасары -- те еле сдерживаются, чтобы не последовать примеру своего Пастыря.

-- Владыка изволит шутить? Грязный урод похож на обладателя фарра?!

Владыка присаживается на корточки над носилками, и ладонь шаха откидывает волосы с лица раненого дэва. Тот стонет и открывает глаза. Отчаянный луч солнца, прорвавшись сквозь завесу туч, осыпает голову и плечи чудовища драгоценной пылью... Суришар близок к тому, чтобы отшатнуться -- нет, быть не может!.. Но тучи смыкаются, золотое марево гаснет, и все возвращается на круги своя. Впору проклясть собственную впечатлительность, недостойную водителя отрядов! И все-таки: теперь шах-заде понимает, отчего десятник не сумел добить раненого дэва. Понимает, и не станет наказывать воина. Что-то есть в полудохлом уроде, незнакомце из Мазандерана, что-то такое...

Впрочем, дело сделано, и груз переложен на чужие плечи: сейчас решать владыке.

Дэв с носилок моргает и пытается приподняться. Это ему не удается, зато владыка склоняется

еще ниже.

-- Я вспомнил...-- бормочут губы в запекшейся крови, губы чудовища на пороге мира иного.-
- Эй, вор, ты слышишь?! -- я вспомнил! Там, в пещере, там нет тьмы... тьмы не бойся! Бойся себя, самого себя... понял?

-- Понял,-- кивает владыка.-- Ты лучше молчи, тебе нельзя...

-- Можно, вор! Теперь мне все можно... Спрашивай! -- я отвечу.

-- Что он сделал с тобой?

-- Златой Овен? То, что я хотел сделать с остальными...

Стон прерывает речь, тело дэва выгибается в предсмертной агонии, и последние слова звучат последним вздохом, судорогой вздувшегося горла, выкриком уходящей жизни:

-- Он меня съел!.. съел... меня...

Шах Кей-Бахрам стоит над трупом.

-- Похоронишь его, как хоронил бы меня самого,-- роняет владыка, страшно дергая левым веком, и прежний бродяга вновь виден в обладателе фарр-ла-Кабир.-- Слышишь?! Как меня самого. Ты прав, глупый мальчик: мой предшественник, гордый Кей-Кобад, умер. Воистину ты прав...

И владыка начинает уходить прочь, по дороге вдоль стенок каменной чаши.

Следом тащится могучий юз-баши, поминутно оглядываясь.

Суришару отчего-то кажется: это все.

Если б еще понимать, что -- все...

Глава девятая,
повествующая о тайном и явном,
звучащая плачем, смехом и словами мудрецов прошлого,

но даже намеком не помогающая героям сделать их выбор.

1

Эта картина позднее не раз будет являться поэту в снах; и он будет тихо улыбаться вялыми губами.

Не разгром Мазандерана, не встреча с легендарным Антарой, не иные деяния и похождения -- перевал в горах без названия. Солнце падает в объятия дальнего хребта, краснея от стыда и еле сдерживаемой страсти, а над песчинкой, муравьем, распростертым навзничь старцем в шафрановом плаще склонился гибкий хург, отбросив прочь секиру. Ладони хурга ритмично давят на впалую грудь старца, с усилием, с требовательным усилием приказывая изношенному сердцу -- бейся! ну бейся же, подлое!.. Затем самозванный лекарь припадает губами к запавшему рту мага, словно всю жизнь мечтал о поцелуях стариков, и дышит, дышит, толкает упрямый воздух внутрь; поцелуй прерывается, и снова -- руки, грудь, толчки... толчки под ладонями.

Сбивчивые всхлипы жизни.

Хург беззвучно смеется, кладет седую голову к себе на колени и тянется за баклагой воды.

В пяти локтях от него курится забытая жаровенка, и возле золотого краба, рукотворного солнца, младшего брата того светила, что сейчас рушится за горы -- рядом стоит рыжее чудовище. Трясутся бурдюки грудей, кривые ноги полусогнуты, страшно напоминая лапы львицы, но лицо спокойно, и странно видеть это спокойствие на морде ночного кошмара. Губы движутся, вывороченные губы зинджа из речных заводей юга, и почти членораздельное бормотание сливается со стоном дряхлого мага, рождая противоестественную гармонию. Курится жаровенка, течет пряным дымом, хоть и нет топлива в сердцевине ее, нечему гореть, нечему дымиться, кроме бормотания, стоны и смеха...

Нечему.

А горит.

-- Ал-Речат,-- бормочет Дэв, забывшись, хлопает по плечу своего владыку и даже не думает извиняться.-- Они удержали его, твое шахское... Нахид, махонькая, умница моя! -- твое шахское, ну скажи ей, хоть словечко, она рада будет! Эй, хург, с меня причитается, за девкину жизнь... да брось ржать-то, юрта ты кочевая, растрясешь дедушку!..

Дэву простительно: это он минутой раньше пыхтел зверем аль-каркадани, прорываясь в шайтанов Ал-Речат и стараясь увлечь за собой беспомощную обузу в виде шаха Кей-Бахрама.

Сейчас Дэву все простительно.

И не только ему.

Щеку Абу-т-Тайиба щекочет легкое касание; поэт машинально смахивает каплю-надоеду и потом долго смотрит на собственную ладонь.

Ладонь влажная.

А в уголках глаз подозрительно щиплет.

2

-- Я у чинары сидел тогда. С которой Вайдос глотку дерет. Ждал одну... прийти обещала. Только не дождался...

Утба Абу-Язан, отставной есаул султана Харзийского, любил женщин, и те отвечали ему взаимностью. Приятели-Вороноголовые, тоже бабники, каких мало, иногда перемигивались, слушая рассказ веселого хурга о новом увлечении; но языкам волю не давали. Секира Утбы была им хорошо известна, и бешеный норв -- тоже: кому охота из-за лишнего словца... Короче, друзья

помалкивали. Отхватил красотку, говоришь? Чудненько. На все согласна, говоришь? Мы за тебя рады. А то, что красотка носата, сутула, и в годах уже -- о том молчок.

О вкусах не спорят.

Тем паче, что водились за Утбой и подлинные красотки, и просто хорошенькие... всякие водились.

Если бы веселый хург был поэтом, он нашел бы нужные слова. Судьба подарила Утбе замечательное качество: он смотрел на женщин открытым взглядом, не замечая внешней оболочки, и видя тайную суть, сердцевину, сокровища, скрытые от неумелого глаза, как запоры скрывают от воришки-простофили золотую казну. С иной старухой он мог сидеть часами, ведя бесконечные разговоры о прошлых днях, и выходил из покоев окрыленный, долго вспоминая тихие беседы. И точно так же он мог буйствовать на ложе с мастерицей постельных утех, доводя ее до изнеможения, давным-давно забытого и оттого вдвойне желанного; после мастерица погружалась в дрему, а хург уходил. Окрыленный. Да и в Мазандеране его мало смущали все эти крылья, когти, хвосты... пустяки. Он не видел внешнего уродства; он смотрел дальше. Женщина есть женщина, и любая хочет одного: отогреться у мужского огня. Здешним бедолагам вообще не повезло; пока мы сюда не явились... пока я сюда не явился. Если бы хург был поэтом...

Но поэтом Утба не был. И не понимал удивления во взглядах приятелей. Он просто жил, как умел, даже не подозревая, что мужчине вроде бы положено от роду-века брать, а не отдавать. Утба отдавал. И в любви, и в гульбе, доводя было имущество предков до полного разорения; и в бою.

Стихия схватки захлестывала его целиком, без остатка, и когда после шутейных свалок на майдане Утбу урезонивали: дескать, что ж ты делаешь, безумец, убить кого вздумал или попросту сдурел?! -- Утба не обижался. И на него не обижались. Иногда он пытался объяснить, что в дружеских поединках щедро выплескивает все свое умение, весь свой пыл, как велит слугам ставить на дастархан все угощения, имеющиеся в доме, едва на пороге объявится дорогой гость! Жизнь и

смерть в такие минуты теряли для хурга всякий смысл -- была жизнь, будет смерть, и опять жизнь, а слова есть слова, и ничего они не значат! Увы, его стали отстранять от учений; без объяснений причин. И так ясно. Денег не напасешься, дурачок: платить отступной выкуп за братскую кровь, нечаянно пролитую, и по первому ли разу...

Если бы Утба был поэтом... но поэтом он не был.

Жил, как умел; и все тут.

-- Сижу, а тут Вайдос бежит; и на чинару. Я от греха подальше -- оглохну ведь, его вопли слушаю! Дай, думаю, выше пересажу, где шиповник... моя-то все равно не пришла, а теперь и не придет, наверное! Только спрятался, только уши заткнул...

Гургасары свалились, как снег на голову. Утба заткнул уши более чем основательно; и призыва Вайдоса не слышал (лишь в голове слабое шевеление произошло), и топота копыт заодно.

Видимо, "волчьи дети" еще перед спуском в котловину разделились на несколько отрядов, и веселому хургу повезло: налетевшими на него всадниками командовал лично Суришар. Не успел хург скинуть с коня головного знаменосца, не успел лечь под копыта, предварительно захватив с собой в Верхнюю Степь пару-тройку удальцов -- взлетела вверх ладонь в латной перчатке, и клинки опустились, минуя дерзкого.

Суришар слетел с коня, обеими руками вцепился в хурга, и губы шах-заде беззвучно задергались.

-- Что? -- переспросил Утба и рассмеялся: уж больно весело шевелились губы, ни дать ни взять у червяков свадьба!

Черви выплюнули ругательство, понятное даже глухому; Суришар прынул в седло, и спустя мгновение конные гургасары прогрохотали вниз, по тропе.

Только тут Утба вспомнил, что забыл вынуть из ушей затычки.

Вынул.

И стал смотреть вниз; где бой превращался в бойню.

Дэвы дрались отчаянно. Ярость гургасаров, ярость мстителей, дорвавшихся наконец до вожденной цели, разбивалась о мощь “добытчиков” и проворство “бойцов”, похожих на Худайбега-дружка; вернее, на того Худайбега, каким юз-баши только обещал стать. Мелькали змеиные жала копий, суковатые дубины мерно подымались и опускались, в ход шли камни и ножи, и пока хозяева с гостями всю истребляли друг друга -- по западному краю котловины уходили в горы дэвицы и дети-дэвтаги, прикрытые с тыла редкой цепочкой особо могучих “добытчиков”.

На их счастье, неожиданные союзники гургасаров ссыпались вниз по другой тропе, иначе этот натиск смял бы женщин вместе с немногочисленной охраной.

-- ...Там и тропы-то особо не было. Как из воздуха явились... кони под ними славные были, это я сразу заметил: морды узкие, шучьи, бабки аж звенят на ходу! Даже в наших табунах такие аргамаки -- редкость. И копытами швырялись -- заглядение...

-- Кони? -- машинально переспросил Абу-т-Тайиб.

-- Люди, -- удивился Утба. -- Кони копытами швыряться не умеют...

Чернокожий предводитель всадников оказался зорек на диво. Или предупрежден заранее. Он лишь привстал на стременах, вскинув пику, на флажке которой трепетал крыльями черный орел -- и новая напасть обрушилась на жителей Мазандерана. Бой в котловине то затихал, то вспыхивал с новым ожесточением, раненые дэвы уползали в заросли на склонах, прятались в пещерах -- но “волчьи дети” кидались следом, и схватки продолжались там, в темноте и стогах.

Утба смотрел и смеялся: шутка судьбы оказалась удачной! Вот бой, и вот он, хург -- вне боя!

Не смешно ли? А если вступать, если решиться отвести душу -- на чьей стороне? И что скажет шах-побратим: одобрит ли выбор своего пса? осудит? промолчит?

Побратимом Утба называл кабирского шаха только в мыслях, ни разу не дав волю языку.

И если бы Утба был поэтом... нет, не так. Если бы некий мудрец разъяснил веселому хургу, что даже мысленно приблизиться к владыке столь дерзким образом -- кощунство, достойное кары!.. Увы, Утба не был поэтом, мудрецов поблизости тоже не наблюдалось, и “небоглазый” хург раздумал терзаться выбором.

Он знал: неизбежность приходит сама, выбирай не выбирай.

-- Она из-за кустов вывернулась. Я сперва и не признал-то: вся в крови, поди разбери, своя кровь, чужая? -- и тюк волочит. Здоровенный такой тюк, мне и не поднять. А следом гургасар и двое этих... у которых кони... только пешие.

Нахид-дэви задыхалась. Едва не сбив Утбу наземь, она проковыляла мимо, спотыкаясь, подволакивая ногу, задетую чьим-то мечом -- но добычу из рук не выпустила.

Рыжая.

Та, за которой шах-побратим пошел в Мазандеран.

Своя.

Утба смотрел дальше уродства; и видел больше других, или меньше, или...

Впрочем, неважно.

Своя.

-- Эй, хург, хватай ее! -- хрипло выдохнул гургасар, замахиваясь копьём для броска.-- Воровка дэвская, с-сучья...

-- С-с-с? -- осведомилась секира веселого хурга.

К чести залетных воинов, они соображали быстро. Гургасар не успел еще упасть с раскрытым черепом, как две кривых альфанги заплясали вокруг убийцы. Им ответил страшный плеск Ар-Раффаль, и пока “Улыбка Вечности” делала свой выбор за хозяина, вторя его смеху радостным звоном -- все это время рыжее чудовище стояло поодаль, дожидаясь исхода драки.

А потом Нахид удобней перехватила косматыми лапами тюк, вскинула воровскую добычу на холку и мотнула хургу головой -- пошли, мол!

Утба бежал за ней, бежал по тропе, бежал вдоль гряды, похожей на спящего верблюда, бежал прямо в пропасть, на краю которой вдруг заварился колдовской кисель, маня неизвестностью -- и все это время он смеялся.

В самом деле, не смешно ли...

* * *

Абу-т-Тайиб подошел к хургу и взял его за плечи.

-- В Коране сказано Аллахом о людях: “Пусть смеются мало и плачут много”. Пророк Мухаммад (да будет мир над ним!) изрек: “Изобилие смеха убивает душу!” Святые мудрецы учили: “Пагубных последствий смеха много. Во-первых, он заставляет человека забыть о Боге; во-вторых, он превращает живую душу в мертвое тело; в-третьих, хохот есть великий грех; и в-четвертых, от смеха в чистых членах появляется нагноение”. Мужчины истины утверждали: “Кто, подобно безумцам, много смеется, обретет еще больше камней отчаянья!”

Поэт перевел дух и улыбнулся в ответ на улыбку отставного есаула, веселого хурга по имени Утба Абу-Язан.

-- А я, побратим, скажу другое. Смейся, сколько тебе влезет; смейся, не боясь забыть о Боге, не боясь омертвления души, хохочи, презрев нагноение чистых членов, и веселись, пиная камни

отчаянья! И еще...

Тишина.

Даже Гургин перестал стонать.

-- И еще -- спасибо. Теперь мы квиты; ты честно заплатил долг.

-- Нет,-- спокойно ответил хург.-- Это не так. Я еще только плачу, и вряд ли когда-нибудь расплачусь до конца.

В трех шагах от них, над украденным тюком, сидела на корточках Нахид-дэви и настороженно глазела по сторонам. В прорехах тюка, разорванного по дороге, тускло блестела сталь. Бывшая хирбеди знала, что делает; знала тем знанием, для которого не всегда нужен разум и почти никогда не нужны слова.

Суришар не зря вез с собой в тороках боевой доспех шаха.

Латы попали по назначению.

3

...Абу-т-Тайиб из-под ладони глянул на солнце, клонившееся к закату. Багровый диск вот-вот должен был утонуть в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в эту минуту он, шах Кабира, поэт и бродяга, упрямая игрушка рока, должен будет войти в шершавый сумрак, который поглотит его...

Что произойдет дальше? Эта мысль ушла, улетела, избежав рождения, даже не думая вором прокрасться в сердце -- ибо, как известно, Господь миров поместил истинный разум в сердце человека, откуда свет его подымается в голову. Поэт тихо улыбнулся собственным размышлениям. Он просто устал, смертельно устал от безнадежной войны с судьбой; а после чаши Мазандерана, доверху полной крови, эта судьба -- его собственная судьба! -- уже не слишком волновала Абу-т-Тайиба. Он сделает должное, совершит предназначенное, каким бы оно не оказалось -- и да поможет ему Аллах,

всемилоостивый и милосердный, на которого упоает всякий правоверный!

В глазах мало-помалу темнело, и Абу-т-Тайиб не осознавал, что виной тому -- не зубчатый горизонт, чье чрево поглощало солнечный диск. Просто веки поэта, отяжелев от грез, налипших на ресницы, смыкались тюремными дверями, смыкались, смыкались... пока самовольно не скрыли от господина и раба своего угасающий день.

А потом под веками вспыхнуло другое солнце!

* * *

Пол-неба было забрызгано кровью. Багровый диск светила яростно рвал в клочья тучи, темные, как пролитые растяпой-писарем чернила; края обрывков мрака небесного сверкали позолотой молний -- и люди, казалось, старались не отстать от солнца и залить кровью половину земли!

С холма, где, приподнявшись на стременах, воздвигся Абу-т-Тайиб, были хорошо видны белые стены Кабира -- но сейчас стены были черным-черны от карабкающихся на них людей! Город брали приступом, и с левого фланга отчетливо доносился грохот медного тарана, в щепки разносившего западные ворота. На ближних холмах, у осадных машин, метался лысый джаселик -- мастер стенобитных орудий. Казалось, это джинн, обладающий способностью находиться сразу в дюжине мест: вот он у баллист-аррад, какими пользовался еще пророк Мухаммад (благо ему!) при взятии святой Мекки -- а вот он уже у камнеметов-манджаников, кричит на полутысячную обслугу "Невесты", огромного манджаника, прозванного так за множество веревок, подобных косам. Именно такая "Невеста" некогда умудрилась сшибить флагшток на самой высокой башне Дайбула; а сейчас от ее поцелуев несладко приходится укреплениям Кабира.

Войска уже подступили вплотную к столице шахства, жадными руками вознося ввысь

осадные лестницы; волна атакующих муравьиным нашествием захлестывала белый камень -- и свет разума наконец поднялся из глубин сердца в голову поэта!

Е рабб! Ведь это же ЕГО войска штурмуют белостенный город!

Его, Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби!

“Вы хотели подарить мне ваш Кабир, вместе со всем шахством и венцом владыки?! -- поэт рассмеялся сухо и зло, как не засмеяться во сне даже самому Иблису.-- Подавитесь вашими подарками! Я возьму сам!”

И безумие этой битвы показалось ему куда более подлинным, истинным, чем безумие последнего года, проведенного им в образе кабирского шаха. Плевать, что этого не могло быть, что он никогда не был полководцем и не брал приступом города! Плевать! Это была ЕГО жизнь, настоящая, в которой правил не Златой Овен, но Меч!

“Хорошая фраза,-- подумалось мимоходом.-- Не забыть бы...”

Но мгновением позже ему уже было не до удачных фраз.

С треском распахнулись створки ворот, изнасилованные залпами манджаников, и наружу потекла стальная река, сверкая кровавыми отблесками: латная пехота, гордость и слава Кабира, приняла вызов!

Смыкались щиты, частокол копий грозил широкими жалами...

-- Вперед, дети пустыни! -- рев Абу-т-Тайиба, нового, бешеного Абу-т-Тайиба сотряс землю.

Ответный грохот и визг.

Конная лава устремилась наперерез разворачивающейся в боевые порядки пехоте. Впереди неся, горяча белоснежного, как стены Кабира, жеребца, чернокожий всадник, воздев над головой кривой полумесяц меча -- и поэт уже не удивился, узнав в предводителе “детей пустыни “ Антару Абу-ль-Фавариса!

Здесь и сейчас возможно было все, что угодно.

Явись сюда сам пророк (благо ему!), осенить святостью падение Кабира -- приму, как должное!
-- Утба Абу-Язан докладывает: восточные ворота пали, мой повелитель! Хург и его люди в городе!

-- Отлично! -- ухмылка раздирает губы, и боль сладостна, она пьянит, течет запретным хмелем, от этой боли сердце пляшет базарным дервишем.

Довольно наблюдать. Сил у Утбы неостанет удержать захваченное -- хургу нужна подмога.

Поэту было совершенно неинтересно: откуда он знает о распределении сил? Должен знать, если он же и затеял этот штурм!

-- Скачи к Утбе. Передай: пусть держится зубами -- мы уже идем!

-- Радость и повиновение! -- и только пыль взметнулась из-под копыт, хрустя на зубах оскоминой боя.

Абу-т-Тайиб в последний раз окинул взглядом поле сражения.

Кабирская пехота, перегордив западные ворота, еще держалась, но строй ее прогнулся панцирной пластиной под ударом клинка: всадники Антары рвались вперед, и даже явление ангела Джибраила не могло бы сдержать дикий натиск язычников из славных времен джахилии! На стене, у башни Аль-Кутуна и прямо напротив холма, с которого поэт обозревал битву, вертелся кровавый ветряк, расшвыривая защитников, и к нему спешили другие осаждающие, проворно карабкаясь вверх по узким лестницам.

Худайбег? Точно, Дэв! И смертоносная “Сестра Тарана” разила, как всегда, без усталости. Мало кто из кабирцев отважился сунуться в жернова смерти -- а на стене тем временем возникали все новые и новые фигурки атакующих. Худайбегу с Антарой помощь явно не требовалась -- они и их люди справятся сами.

Пора!

-- За мно-о-ой! -- и три тысячи всадников резерва, давно ожидавшие своего часа, во главе с

самим полководцем устремились к городу.

Мимо проносятся стены, люди, бьются в агонии кони с распоротыми животами, над столицей плывет в зенит черный дым, подсвеченный снизу багрянцем пожаров; звон металла, крики -- но все это заглушает грозный топот тысяч копыт за спиной.

Дальше, дальше -- восточные ворота уже совсем рядом.

На мгновение Абу-т-Тайиб оглянулся через плечо. Но смотрел он почему-то не на своих воинов, скачущих позади, а вверх, на небо. Поэту хотелось увидеть разъяренный лик солнца.

Это казалось очень важным.

Но солнца не было: лишь крошечная тьма грозových туч -- предвестниц бури; светило брызгало на их края позолотой, тщетно сиюсь пробиться сквозь заслон. То же, что и на земле -- чернота дыма, подсвеченная кровавым огнем.

А потом впереди явились ворота. Спешно уступала дорогу коннице пехота Утбы Абу-Язана, сам Утба пятился от наседающих кабирцев, отмахиваясь секирой...

Свистнул, покидая ножны, ятаган.

Тот самый!

И завертелась кровавая круговерть.

Металл звенел о металл, кричали люди, бешено ржали кони, в горле першило от едкого дыма, и рука в латной перчатке, по локоть забрызганная дымящейся кровью, вздымала вверх тяжелый ятаган -- и мощное лезвие, визжа от ярости, опускалось на головы врагов, рассекая шлемы и черепа, и скользил на плитах площади гнедой жеребец, и он, мятежный поэт, презревший милостыню венца, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, все смеялся в порыве боевого безумия, совсем как его друг и побратим Утба Абу-Язан, и бежали, спасая свою жизнь, защитники Кабира, а за ними вдогон неслись воины на взмыленных конях...

-- Живой, я живые тела крушу; стальной, ты крушишь металл --
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!

Навстречу ударил грохот копыт, совсем как тот, что недавно плащом бился за спиной; и сразу следом -- истошный вой. Гургасары, “волчьи дети”, личная гвардия кабирского шаха!

Демоны-оборотни в косматых шурах поверх доспехов, на черных жеребцах-исполинах -- они вылетели из-за поворота, и шедшая на убыль битва вспыхнула с новой силой.

Но Абу-т-Тайиб не видел всего этого. Сейчас он не видел ничего, кроме всадника, закованного в драгоценный доспех, всадника на чалом скакуне с узкой щучьей мордой.

Поэт узнал их сразу.

Обоих -- и коня, и всадника.

Суришар, наследник кабирского трона, которого он, Абу-т-Тайиб, невольно лишил венца, явившись на свет из пещеры Испытания -- и теперь собирается лишить вновь, но отныне своей волей, с мечом в руках!

Кто же он сейчас, вспыльчивый Суришар: восставший против господина наместник -- или законный шах Кабира, по праву носящий кулах владыки?

Но и это тоже не имело значения.

Кони сшиблись грудь-в-грудь. Полыхнула, запела сталь клинков, закружилась в гибельном и по-своему прекрасном танце. На этот раз Суришар предусмотрительно сменил легкую щегольскую саблю на массивный талвар, да и опыта у юноши... куда там, где он, былой юноша?! -- заметно прибавилось. Вихрь ударов рушился на поэта памятным самумом, обещая тьму и покой. Дважды лезвие скрежетало по наручу и латной перчатке, но Абу-т-Тайиб успевал отбиваться, не спеша лезть на рожон. Возраст не тот, молодость давно ушла в дальние края, и приходилось беречь силы, выжидая, когда разгоряченный противник зарвется...

Случилось!

Чудом извернувшись в седле, поэт пропустил очередной удар мимо себя -- лишь седельная лука взвыла от мимолетного касания! -- и ятаган Абу-т-Тайиба пошел на полный круг.

Давешние слова пришли сами:

-- Отныне Кабиром будет править не Фарр, но Меч!

И в этот миг рука отказала.

Нет, не рука!

Став вдруг непомерно тяжелым, ятаган, словно живой, отказывался повиноваться, отказывался взмыть вверх и обрушиться на противника, проламывая доспех, мышцы, кости!..

Свинцовый клинок тянул к земле, едва ли не стаскивая с коня; этому не было объяснения, как не было объяснения и всему, что творилось вокруг; но ведь и на Страшном Суде вряд ли станут слушать твои дурацкие объяснения, грешный человек, и цена им -- ломаный фельс!

С какой-то странной отрешенностью поэт наблюдал, как вспыхивают торжеством глаза Суришара, как вспыхивает в ответ нимб фарра вокруг головы кабирца, как юноша, подобный блеску молнии во мраке, поднимает коня на дыбы -- и как рушится сверху смерть в облике клинка талвара.

Он проиграл. Час пробил; и значит -- пора. Пора уходить. Он и так прожил лишний кусок чужой, заемной жизни.

Или все же своей?

Последним, что увидел поэт, было солнце над правым плечом кабирского шаха. Нет, не солнце: в небе, усмехаясь, скалила плоские зубы баранья голова!

Златой Овен смеялся.

Потом была темнота.

* * *

-- Е рабб!

Поэт заснул сидя, и сейчас, упав набок, основательно треснулся головой о камень.

От чего и проснулся.

-- Е рабб! -- еще раз повторил Абу-т-Тайиб, потирая ушибленное место.-- И приснится же такое!

Солнце успело закатиться за вершину Тау-Кешт, и снежная чалма, которую гора носила с неизменным достоинством, была уже не розовой,-- серо-лиловой она была, и продолжала быстро темнеть.

Сумерки стремительно падали на горы серым саваном, обещая скорую ночь.

Пора было идти.

Поэт тяжело вздохнул, встал и шагнул в кромешную тьму пещеры.

Два-три шага -- и темнота сомкнулась вокруг.

Глава десятая,

где рай сменяется адом и наоборот,

наисладчайшее блаженство -- наитягчайшим грехом и наоборот,

агнец возлежит со львом и наоборот,

но никоим образом не упоминаются джавляки, бродячие дервиши,

во имя Аллаха добровольно лишившие себя всех волос на теле,

включая брови и ресницы.

Родник доверчиво ткнулся мне в ладонь холодным носом -- и отпрянул от кольчужной чешуи, обиженно лепеча невнятицу. Брызги маленькой радугой на миг повисли в воздухе, чтобы опасть на травы капельками росы; гордая фиалка вскинула головку, украшенную алмазным ожерельем, и насмешливый щебет птиц был ответом этой гордыне. Солнце пригоршнями рассыпало вокруг тертую охру, золотя кусты жимолости, оглушающий аромат плыл волнами, заставляя сердце биться чаще, словно у юноши в предвкушении первого любовного свидания -- а каждый вдох и выдох звучал “алифом” и “лямом”, слава Предвечного.

Я стоял нелепой, закованной в металл статуей, посреди райских пределов, и не знал: тосковать ли мне за тьмой пещеры Испытания?!

Тьмой, из которой родился свет, как уже случалось некогда с мирозданием; да и со мной однажды бывало.

Память подсказывала свидетелем, заслуживающим доверия: шахский доспех так и остался лежать у входа в пещеру. Я не разворачивал тюк, не просил Утбу или Дэва помочь мне застегнуть пряжки и затянуть ремни; я не облачался во все эти зеркала, оплечья, наручи, поножи, не обвивал талию поясом с бляхами, не украшал голову прорезным шлемом, наматывая поверх него тюрбан...

Я не делал этого.

И тем не менее -- творение Коблана-кабирца покрывало злосчастливого Абу-т-Тайиба с головы до ног, и это являлось такой же истиной, какой был тюк, оставшийся снаружи.

Я был готов к бою.

Я -- потому что здесь и сейчас не находилось места лжи или притворству, отстранению или возвышению, всем этим Ахмедам ибн аль-Хусейнам, Абу-т-Тайибам аль-Мутанабби, именам, прозвищам, отчествам и племенным куньям; я был наг душой и открыт рассудком для всего, что могло произойти со мной в здешнем раю.

Не смешно ли? -- нагой боец в ратном снаряжении!

Смейтесь великим смехом!

...трава хрустела под двойными подошвами сапог. Брызгала липким соком, ломкими стеблями корчилась за спиной. Трава была бессмертна: что значит сотня-другая зеленых побегов для обширной луговины? Меньше, чем ничего. Мы с травой знали о бессмертии все. Я сдвинул набок ножны с ятаганом и полной грудью вдохнул пьянящий ветер, отличный от запретного вина лишь тем, что он был дозволен. Куда идти? Что делать? С кем биться? О гордый Кей-Кобад, неужели именно здесь тебя выели до сердцевины, бросив в мир лишь пустую оболочку?!

Дерева сомкнулись вокруг меня: ивы с ветвями-хлыстами, вековые карагачи, пирамиды кипарисов накалывали облака на острия макушек, красные листья аргавана соседствовали с серебристой подкладкой листвы сафеддоров; и пятнистой шкурой леопарда земля стелилась к ногам владыки.

Я шел, не разбирая дороги, держа ладонь на рукояти ятагана. Легкий скрежет латной перчатки о костяные накладки рукояти, хруст травы под сапогами, звяканье наруча, когда он краем цеплял поясные бляхи -- странная, противоестественная гармония царила в этом хаосе звуков! Трели птицы бульбуль -- и скрежет, воркотня голубей -- и хруст, шелест крон под ветром -- и звяканье... хиджазский напев бытия!

Уж лучше бы меня ожидала тьма крошечная со скрежетом зубовным, мрак тысячи опасностей, чем этот волшебный Ирем, где волей-неволей приходится чувствовать себя захватчиком!

Я наклонился и мимоходом сорвал нарцисс.

Сунул было за ухо и, наткнувшись на шлем, устыдился.

“Только раз в году нарциссы украшают грудь земли -- а твоих очей нарциссы расцветают круглый год...” Воспоминание отрезвило, я бросил цветок в душистую тень олеандра и двинулся дальше.

Без цели; без смысла.

В метелках дикого овса, осыпая серую пыльцу, щеголями площади Мирбадан бродили голуби. Ворковали, топорщили перья, терлись клювами в любовной игре. Ближе всех ко мне прохаживался крупный сизарь с алой полоской вокруг шеи, более всего похожей на коралловое ожерелье. “Мяо!.. мя-а-ао...” -- кошачье пение издавал он, и все топтался на одном месте, отпрыгивая, возвращаясь, кося на меня влажной бусиной глаза. Я пригляделся. У лап голубя извивалась пестрая гадюка, один укус которой отправляет человека к праотцам верней, нежели добрый удар копья.

Змея вязала из себя замысловатые узлы, но жалить не спешила; и уползать не спешила.

-- Мя-а-ао... мя-я-я...

Голубь с лентой топтался по упругому телу гадюки, кривые когти не по-голубиному хищно прихватывали змею, вздергивали над землей, чтобы тут же отпустить, дать наизвиваться вдоволь -- и снова... Тихое шипение вторило нежному мурлыканью, кораллы на шее птицы отливали рассветной зарей, а остальной стае дела не было до забав вожака.

-- Кыш! -- довольно глупо сказал я.-- Кыш, зар-раза!

Голубь, являя собой образец послушания, оставил змею в покое (та мигом юркнула прочь, исчезнув в зарослях), вспорхнул и уселся ко мне на плечо.

-- Кыш...-- беспомощно повторил я.

Голубь потерялся головкой о назатыльник шлема. Щелкнул мощным клювом, норовя ухватить кольчатый край. В ответ я дернул плечом, желая прогнать назойливую птицу, но земля вдруг ринулась прочь, вниз, в пропасть, а небо ударило в лицо синим полотнищем. Расплескивая пену облаков, я мчался в вышине вольным голубем, следя, как внизу стелятся реки и озера, холмы и долины, города с многоярусными крышами домов и рисовые поля, залитые водой... острые шпили пагод, судоходные каналы, обсаженные деревьями... “Мэй-лань,-- мяукал мне в уши ветер,-- Мэ-э-эйлань, Мя-я-ао!..”

Я знал: захоти я, и все это станет моим. Я стану всем, стану холмами и долинами, домами и

людьми в них, стану Сыном Неба, который долгожитель даже в сравнении с владыками иных держав; мне предлагали величие без границ и пределов.

Искренне.

Я зажмурился. Ну почему я?! Зачем я вам всем понадобился, бродяга, с двенадцати лет избравший долю странствующего поэта? Почему вы не даете мне умереть, отказывая в последнем утешении отчаявшихся?! Я привык петь хвалу власть имущим, когда нуждался в деньгах, я не стеснялся славословить халебского мерзавца Сайфа ад-Даула, этого тупого Меча Истины, получив за лесть годы благополучия, о чем сейчас вспоминаю с омерзением! -- но, воспевая эмиров, я мысленно претендовал на их троны лишь в минуты отчаянья! В те горькие минуты, когда душа моя, залог Аллаха, брала своего обладателя за глотку и гнала прочь от благополучия, заставляя выкрикивать стихи, оплачиваемые не динарами, но мечами оскорбленных! “Как,-- возмущались они,-- сей рифмоплет, чье достоинство -- только происхождение от южных арабов, смеет превозносить свою гордыню до небес?! Пес заброшенных стоянок воеет на луну и называет это истинной поэзией?! В наше время, когда, в отличие от славного прошлого, перестали рождаться мастера слова, он задирает нос и бахвалится похвальбой зазнаек?! Ату его!” Да, слыша их, мне хотелось надеть венец и перестать быть поэтом, ибо я втайне знал: такого не может произойти никогда...

И не потому, что венец мне заказан.

-- Мя-а-а...-- разочарованно проворковал ветер. Я вновь стоял на земле, а Голубь-Мяо фарр-ла-Мэйлань, спрыгнув с моего плеча, вразвалочку ковылял прочь.

Стая ждала вожака.

Из-за цветущей мушмулы выскочил заяц. Принюхался, вытягивая мордочку, и дробно рванул

в лощину, где мне почудилась серая тень. За ним вылетела добрая дюжина приятелей -- длинноухих, с куцыми хвостами-пуговками; и зайцы скатились вниз по склонам, топча клевер-пятилистник, будто совершенно не нуждались в удаче. Солнце полоснуло их семихвостой плетью, прежде чем зверьки успели скрыться от моего взгляда, и заячьи шкурки запылали в ответ шафраном, а на ушах блеснули серебром длинные кисточки.

Минутой позже в лощине раздался тоскливый волчий вой. Он разрастался, ширился, тек унынием, захлестывая окружающий меня Ирем; истошному вою вторил барабанный перестук. Невидимые для меня лапки колотили в невидимые стволы, полые изнутри, барабаны гремели все громче, и вой звучал все громче, превращая день в ночь, а солнце -- в луну, пока не оборвался на самой высокой ноте.

Я шагнул к спуску в лощину, плохо понимая, зачем это делаю; и споткнулся. Степь раскинулась вокруг меня, степь белобаранных хургов, и чернобаранных хургов, до самой Харзы, на чьи стены никогда не поднимался враг; та степь, которую я уже топтал однажды. Ноги вихрем несли меня по ковыльным просторам, заставляя петлять меж сопками, шуршать в озерном камыше, бешеным соглядатаем наворачивать круги вдоль крепостных стен... люди, кони, юрты и палатки, стада и табуны, башни и рвы...

Все это предлагалось мне.

Бесплатно.

Просто так.

-- Нет! -- выкрикнул я, чувствуя, что теряю сознание.-- Не-е-ет! Я возьму сам!.. са-а-ам!..

Тишина.

На краю лощины сидел Лунный Заяц фарр-ла-Харза, внимательно глядя на меня зелеными глазами. “Зря,-- явственно читалось в глубине заячьего взгляда,-- зря... я ведь от всей души...”
Наконец он моргнул и, потешно выпрыгивая на каждом шагу, двинулся вниз.

Где били в барабаны маленькие лапки, а эхо еще ловило отголоски бывшего воя.

* * *

Синий Тур Лоула даже не подошел ко мне.

* * *

Виноградная лоза предложила мне масличные рощи Кимены, двугорбый Нар ал-Ганеб -- Дубанские равнины, купцы-оразмиты со всеми их караванами были брошены мне под ноги Вольным Плющом фарр-ла-Оразм; Вран фарр-ла-Фес каркал над моей головой, удивляясь человеческому упрямству, а Черепаха-о-Семи-Пятнах все ползла за мной, с воистину черепашиным терпением раз за разом предлагая мне Хинское ханство.

Пока я чуть не наступил на нее сапогом, и черепаха отстала.

Я шел, топча благоуханный ковер, я чувствовал себя святым пророком Исой, которого враг Аллаха возвел на гору и указал пророку на все царства земные: владей! бери! пользуйся!

Только я, в отличие от святого пророка, мог сколько угодно кричать гласом вопиющего в пустыне:

-- Отыди от меня, искунитель!

Разве что горло сорвал бы.

Его я нашел последним. Златого Овна, бесцеремонного спутника, того, за кем явился сюда. Баран лежал у поваленного кедра, а рядом с ним лежал косматый лев, опустив голову на передние лапы и зорко поглядывая по сторонам. При моем появлении лев глухо зарычал и сделал было

попытку встать, но бляенье Златого Овна остановило хищника. Рык еще доносился из груди льва, катился предупреждающим рокотом, пока баран не ухватил зверя зубами за складку шкуры на шее и не встряхнул как следует.

Лев угомонился.

Зажмурился, лег на бок и выгнулся спящим котенком.

Я подошел к Златому Овну. Остановился в растерянности, потом освободил ятаган от ножен.

Клинок вопросительно блеснул: я здесь! чего ты хочешь?

Лев встал и затрусил прочь. А проклятый баран глянул на меня снизу вверх и прикусил травинку, что торчала у самой его морды. Курдюк Овна дряблой грудой трепетал от каждого движения челюстей, драгоценная шерсть блестела сокровищами пещеры Сим-Сим; он не сопротивлялся, он лежал покорной тушей, и я почувствовал себя подлецом.

Мне опять предлагали милостыню.

Кебаб вместо Золотого Руна.

Вместо боя, борьбы и схватки, вместо возможности взять самому, мне подкладывали нечистое животное свинью! -- то есть тупого барана, на холку которого я в любую минуту мог опустить карающий клинок.

А вокруг молчал Ирем, рай без людей, или не так: рай, каким он был до создания Адама.

Впервые я понял, почему имя падшему ангелу, отказавшемуся исполнить прихоть господина: Иблис, то есть “отчаяние”.

Иблис охватывал меня все теснее, и не было этому яду противоядия.

-- Нет,-- сказал я раю, барану и всем на свете фаррам, которые бродили неподалеку, с интересом поглядывая в нашу сторону.-- Нет. Если вы предлагаете мне рай, чьей благодати я уже успел наесться всласть, так что она пошла мне горлом -- тогда я предпочитаю ад. При одном условии: свой ад я возьму сам. И поверьте: я знаю верный способ...

Я укрепил ятаган между двух камней; острием вверх.
Сцепил пальцы на затылке, чтобы не передумать в последний миг.
И упал на острие.

3

Падение длилось вечность.

Я даже успел вспомнить, что забыл снять доспех, которого не надевал; и решил, что это не имеет никакого значения.

* * *

-- Я лежу перед собою цитаделью, взятой с бою,
Ненавистью и любовью -- ухожу, прощайте!

Тенью ястреба рябою, исковерканной судьбою,
Неисполненной мольбою -- ухожу, прощайте!

В поношении и боли пресмыкалась жизнь рабою,
В ад, не в небо голубое ухожу. Прощайте.

Ухожу...

Кривое лезвие ятагана изгибалось мне навстречу холодной улыбкой стали: “Давай, поэт! Иди

ко мне! Доверься! Уж я-то тебя не подведу!”

И я так же криво улыбался ему в ответ, отвоеывая у пространства пядь за пядью.

Прости меня, Аллах всемилостивый и милосердный; или нет, лучше не прощай, а просто пойми. Я даже не буду молить Тебя принять мою неприкаянную душу -- ибо знаю, какой грех совершаю. Нет мне прощения, как нет и другого пути. Эй, падший ангел, гордыня во плоти -- готовь котел попросторнее, раздувай пламя, зови подручных!

Встречай!

Я иду, спешу, падаю, я уже... где ты?!

Перед глазами мелькают кровавые угли и блеск рогов -- вот ты каков, хозяин преисподней! -- тупой удар в бок пронизывает болью все тело, в уши врывается глухой звон металла...

...Небо. Откуда в аду такое голубое небо?

Я приподнялся и сел.

Напротив ухмылялась баранья морда! Иблис, будь ты проклят, прощен и снова проклят! -- почему и ты предал меня?! Или ты -- одно целое со Златым Овном, моим мучителем и искусителем?! Молчишь? Все молчите, да?! -- адские выкормыши, зеленые холмы Ирема, их обитатели, толпа тварей, что мало-помалу собирается вокруг поглазеть на завидное зрелище!

Последние слова умирающего Кей-Кобада кузнечными молотами бьют изнутри в гулкие своды черепа:

-- Он меня съел!.. съел... меня...

“И меня,” -- беззвучно отвечаю я.

В ответ баран издевательски скалит плоские зубы, похожие на речную гальку -- словно мерзкая скотина чует мои мысли и глумится над старым поэтом! Златого Овна не устраивает шах-самоубийца! Только он, рогатый фарр-ла-Кабир, волен распоряжаться жизнью и смертью венценосной куклы! Только он вправе, отшвырнув глупца в сторону и выбив из-под него стальную

смерть, лично растерзать упрямого -- позже найдя замену сносившейся ветоши!

Это намерение ясно читалось в горящих углях, в хищных глазах пастыря стад.

И я понял запоздалым озарением: судьба дарит мне вместо греха самоубийства нечаянную возможность взять, взять, взять наконец самому -- что бы я ни брал, жизнь или смерть!

До каких я великих высот возношусь и кого из владык я теперь устрашусь, если все на земле, если все в небесах... если... все...

Удар!

Скрежещут пластины доспеха, трещат ребра, запирая дыхание в легких, как запирают узника в беспросветных темницах Салам-Зиндана; оскал бараньей морды нависает надо мной ущербной луной геенны -- и я еле-еле успеваю извернуться под массивной тушей. Кулак, закованный в броню, со звоном впечатывается в самую середину мощного лба, Овен отшатывается, гнусаво блеет; и пинком ноги я отталкиваю его от себя.

Ятаган! Где ты?! Где?!

Тусклый серый блеск в траве, в каких-то двух шагах.

Ноги все делают за меня сами: остается лишь нагнуться, сомкнуть пальцы на рукояти, моей волей избавленной от позора самоцветов...

Багровая вспышка превращает сознание в кусок парного мяса.

Боль.

Семь адских кругов боли, и восьмой, предназначенный исключительно для упрямец вроде меня.

Во рту -- соленый вкус крови и крошево выбитых зубов.

Зубы хрустят на зубах; бывшие на оставшихся.

Встать! Встать, старый урод! Немедленно -- потому что время медлить иссякло на весах твоей участи!

Ну же?!

Баран стоит рядом. Рукой подать, и кровь, МОЯ кровь стекает по его золоченым рогам. Встать не получается, сколько ни кричи сам на себя; затруби сейчас Израфиль в трубу Судного Дня, я все равно не встану -- но это и не нужно. Вот он, ятаган, стальные пальцы латной перчатки плотно обхватили рукоять с костяными накладками. Правая рука с оружием как нарочно отброшена назад: единственный взмах, один сверкающий полукруг -- и этому кошмару придет конец!

Н-на!

Плечо едва не вывернулось из сустава. Ятаган жметесь к земле, наливается свинцом, не желая подниматься, мешая рывком сесть и нанести решающий удар -- меч владык, символ Кабирского шахства, отказывается рубить Златого Овна.

Как отказываются рубить только мечи: наотрез.

-- Предатель!

В ответ с неба рушится издевательское бляение, злорадный смех фарр-ла-Кабир.

Вот он, вещий сон! Вот он, сон в руку, меч в руку, и непомерная тяжесть распластывает меня по нежной траве Ирема, давая всласть насмотреться на адское солнце -- баранью голову, хохочущую в облаках!

Исступление, бешенство отчаяния обжигает гортань расплавленным оловом:

-- Предатель! Кусок ржавчины, позор своего рода, недостойный называться Мечом!

Прислужник вонючего барана!

Златой Овен заставляет небосвод содрогнуться в приступе дикого веселья.

-- Ведь мы похожи, ты и я!..-- шепчу я непослушными губами, словно надеясь уговорить упрямый ятаган.-- Чего ты хочешь? Пылиться на дворцовых коврах, надуваясь от спеси во время парадов и торжеств?! Даже покидая ножны по прихоти очередной венценосной куклы, оставаться мясницким ножом?! -- ибо никто не ответит тебе честным ударом на удар! Ты меч -- или кусок

бараньего дерьма?! Вспомни: подобен сверканью моей души блеск моего клинка: разящий, он в битве незаменим, он -- радость для смельчака!.. мой яростный блеск, когда ты блестяшь, это -- мои дела; мой радостный звон, когда ты звенишь, это -- моя хвала! Живой, я живые тела крушу; стальной, ты... ты...

“Достаточно,-- решает Златой Овен.-- Пора обедать.”

Дрогнула земля под копытами кинувшегося на меня барана -- и в ответ странной, пронизывающей дрожью отозвалась рукоять ятагана, в чью плоть, казалось, намертво вросли сквозь железо перчатки мои пальцы.

Победный рев исторгся из моей груди, вторя свисту рассекаемого клинком воздуха Ирема: меч все-таки сделал свой выбор! Выбор между человеком и златорогим фарром -- а значит, нас было двое!

Нет, не двое: сейчас мы были одним целым!

Ятаган крылом бури взмыл над косматой тушей -- чтобы опуститься.

Истошное, испуганное бляение, влажный хруст -- и кривое лезвие, на треть войдя в шею Златого Овна, вспыхивает ярче дюжины солнц. Оно плавится в жаре фарра, истончаясь, исходя нестерпимым сиянием -- и вот: обожженные пальцы уже не ощущают рукояти, ибо ладонь моя пуста.

-- Отныне Кабиром будет править не Фарр, но Меч!

Полководец из сновидения в последний раз повторяет эти слова, пробуя каждое на вкус, и удаляется в свою обитель грез.

Раненый баран неистово бьет копытами, проминая доспех, насилая мое кричащее тело -- но руки уже сомкнулись мертвой хваткой на подрубленной шее фарр-ла-Кабир. Рывок, проворот, треск ломающихся позвонков и рвущихся сухожилий...

Я встаю.

У ног моих бьется в агонии обезглавленная туша кабирского фарра. Драгоценная шерсть,

легендарное Золотое Руно, быстро тускнеет, становясь обычной бараньей шкурой, грязной и окровавленной.

Мухи.

Жужжат, клубятся... райские мухи.

А вокруг молча ждут обитатели Ирема, символы сопредельных держав. Фарры Харзы, Мэйланы, Дурбана... зайцы, голуби, верблюды, черепахи; лоза и плющ растут из рыхлой земли, цепляясь усиками друг за друга, уставясь на меня глазами странных соцветий... ни одного хищника.

И я читаю в их молчании приговор.

Приговор озверевшего рая.

Но все-таки первый шаг навстречу делаю я.

Сам.

4

-- ...твое шахское! Посторонись!

Мимо меня, выпятив смертоносный рог “Сестры Тарана”, проносится разъяренный зверь аль-каркадани по кличке Дэв.

Мимо меня летит знакомый смех Утбы Абу-Язана, смех и песнь “Улыбки Вечности”, двуручной секиры, не обученной задумываться: рай вокруг, ад или сумрачная страна аль-Араф.

Мимо.

Меня.

А в отдалении наотмашь пластает воздух кривой машрафийский меч, изготовленный оружейниками Йемена, честно оплаченный блюдом полновесных динаров -- разрубая цепкие

объятия Вольного Плюща фарр-ла-Оразм и скрежеща по панцирю Черепахи-о-Семи-Пятнах, так и не сумевшей всучить мне трон Хины!

“Если буду нужен -- позови. Я у тебя в долгу.”

Антара Абу-ль-Фаварис, Отец Воителей, ты и без зова пришел на помощь к царю джиннов по имени... по имени... забыл!

Антара, я забыл, как ты называл меня там, в чаше Мазандерана!

Но все равно -- спасибо.

Оглушительное хлопанье крыльев над головой -- и в горло впиваются кривые когти Голубя-Мяо, символа мира и добродетели! Стоит немалого труда оторвать от себя разъяренную птицу, больше похожую сейчас на горного орла, чем на кроткого голубка. В ответ на удары кулака пернатый фарр-ла-Мэйлань бьет клювом, метко и страшно, прошибая зеркало как раз под ключицей, на месте бывшего шрама; клещи когтей отрывают от доспеха пластину за пластиной, хлопанье крыльев терзает слух, и я уже с трудом держусь на ногах, но падать нельзя, ни в коем случае нельзя, а можно лишь раз за разом бить в ответ, бить, пока есть силы, а потом -- ногами втоптывать мерзкую тварь в грязь, ломая крылья и слыша, как хрустят под каблуком ребра...

Огромная голова Лунного Зайца катится по останкам голубя, а верный Дэв спешит на помощь чернокожему Антаре -- Отец Воителей, изрубив наконец в куски Вольный Плющ, схватился с двугорбым Наром ал-Ганебом, успевая одновременно уворачиваться от упрямой черепахи фарр-ла-Хина. Гигант-верблюд встает на дыбы, машет копытами, пытается достать Антару зубами, и помощь Дэва весьма кстати.

Я вытираю пот, удивленно слыша скрежет перчатки о налобник шлема; и вижу Утбу.

Что ж ты так, веселый хург, что ж ты...

Они лежат рядом, вцепившись друг друга и разметав в стороны обрывки Кименской Лозы: Утба Абу-Язан и Фесский Вран. В спине мертвого ворона, подобного птице Рох из легенд, глубоко

засела секира со сломанным древком -- но клюв фарр-ла-Фес до середины вошел в левый глаз Утбы, выйдя из затылка.

И на губах хурга костенеет его последняя, прощальная улыбка.

А поодаль молчаливо стоит Синий Тур Лоула, так и не приняв участия в битве, стоит, печально глядя на убийц и убитых слезящимися голубыми глазами.

Опять -- голубыми!

Голова идет кругом, взор туманится, но я еще успеваю увидеть, как под страшным ударом копыта падает несокрушимый, казалось, Дэв, подняв за миг до смерти на копье Черепаху-о-Семи-Пятнах; как возле него, прорвав воздух-кисель, возникает суровый Гургин, и пламя из солнечного краба жаровни, которую маг держит в руках, фонтаном ударяет в оскаленную морду верблюда фарр-ла-Дурбан; Антара радостно заносит меч -- и я ухожу.

Сам.

* * *

Утонув во мраке беспамятства, Абу-т-Тайиб уже не видел, как пал Нар ал-Ганеб под ударом Отца Воителей; не видел, как растворился в туманном мареве сам Антара, и как уходил прочь из оскверненного кровью рая печальный Тур Лоула.

Он не чувствовал, как трясущиеся руки Гургина стаскивают с него покореженные латы, отбрасывая прочь куски металла. Левую перчатку маг стащил, истово ругаясь сквозь зубы, потому что раскаленная сталь обжигала руки; и потом старец долго смотрел на покрытую ожогами ладонь поэта. Там, на среднем пальце, ниже полуоторванной фаланги, сиял перстень с вишнево-красным камнем -- а на самоцвете мигал удивительный глаз, похожий то ли на косматое солнце, то ли на разинутый рот.

Шахский перстень, древний символ, который поэт всего-навсего забыл снять, оставляя в Кабире кулах и пояс владыки.

Свет в Иреме стремительно мерк -- и вместо этого наливался багровым пламенем камень перстня, словно всасывая остатки умирающего дня.

Маг потянулся было к перстню -- снять! -- но не решился.

-- Тебе не хватает света, да? -- тихо спросил верховный хирбед, делатель владык.-- Ты привык всегда быть в сиянии фарра, и теперь пьешь про запас?

Перстень не ответил.

Старец кивнул и попробовал успокоить сердцебиение.

Иначе сил его изношенного тела могло попросту не хватить.

Глава одиннадцатая,
в которой жизнь и смерть спорят между собой из-за одного человека,
в которой память издевается над этим человеком,
в которой выясняется, что может произойти с тем,
кто заночует-таки в храме Сарта, Гложущего Время (благо ему!) --
но так и остается неясным,
отчего же горцы обходят столь гостеприимный храм десятой дорогой?!!

1

Солнечный диск медленно полз к закату. По пустыне неба, изгрызенной зубами скал, осыпая напоследок золотистым багрянцем угрюмые хребты, подкрашивая веселой охрой -- словно красавица кудри! -- замшелые крыши селения. Требовательно блеяли недоенные козы в тесноте загонов; незло,

по привычке, переругивались соседки и зубоскалили над женщинами их мужья, раскупоривая глиняные бутылки; квохтали куры, устраиваясь на ночлег. Скрип и хлопанье ветхих дверей, над саклями курились сизые дымки, разнося окрест ароматы готовящейся стряпни. Пахло обжитым, вековым домом, которым давно уже стали для этих людей здешние горы без названия.

У входа в крайнюю саклю, на каменной скамье, отполированной седалищами поколений, сидели двое. Сухощавый старец кутался в длинный, до пят, войлочный кобеняк, поверх обшитый кожей -- от дождя и ночной сырости. Рядом яростно чесал бороду заросший до самых глаз горец, обладатель мохнатой папахи и кацавейки из козьей шкуры, мехом наружу.

Штанов на горце не было.

Они после стирки сушились на веревке, в трех шагах от скамьи; и чем-то удивительно напоминали злоумышленника, вздернутого на дыбу.

Оба молчали: и старец в кобеняке, и горец без штанов. Прислушивались к звукам, что доносились из сакли -- невнятное бормотание, звяканье связки колокольцев, ритмичный перестук деревяшек, шарканье шагов...

Что-то творилось внутри, и это "что-то" явно интересовало обоих. Но соваться внутрь мужчины не решались -- лучше не мешать; сидеть снаружи, слушать... ждать.

-- Не грызи печенка, Гургин-ака,-- горец искоса глянул на старца, и подмигнул со значением.-
- Хадьжа-апа дело знай! Хороший колдовка, вай! Меня лечи, когда я нога ломай -- вишь, как новый бегаёт!

И в доказательство стукнул себя кулаком по колену.

-- Вижу, знает она дело, бабка ваша,-- хмуро кивнул старец, которого горец назвал Гургином-акой.-- Была б нога, я б сейчас песни пел! Ох, была б нога... Боюсь -- помрет.

-- Вай, зачем Косую поминаешь?! -- замахал на старца руками хозяин жилища.-- Седые волосы нажить, ума не нажить! Все хорошо быть! Я вас на перевал находи -- хорошо?

-- Хорошо,-- вынужден был согласиться старик.

-- Твой друг совсем дохлый быть, ты его таскай-волоочи -- силы кончайся, вы оба кончайся! Плохо? Плохой некуда. Но Джуха,-- палец гордо ткнулся в отворот кацавейки,-- вас орлиный глаз замечать, вино поить, второй конь деревня находить, гостей спасай-привози -- хорошо?

-- Хорошо,-- доводы Джухи просто-таки вынудили собеседника кивнуть.

-- Теперь лучший колдовка твой друга помоги! Злого испа-лихоманщика гоняй, травами лечи, какой надо еда делай -- хорошо?

-- Хорошо,-- в третий раз согласился старец.-- Спасибо тебе, Джуха. Я очень надеюсь, что уважаемая Хадыжа-апа сумеет поставить моего друга на ноги. Но мои надежды -- это одно, а раны -- совсем другое...

-- Великая воин, да! Я сразу видать! Рука совсем железный! -- поспешил внести свою лепту неугомонный Джуха.

-- Только если он даже поправится,-- старец гнул свое, и тень лежала на морщинистом лице, тень забытых ущелий, куда не попадает солнечный луч,-- нам тут у тебя еще долго гостевать. Пока мой спутник на ноги встанет... Если встанет,-- добавил он чуть слышно.-- Так что имей в виду: мы в долгу не останемся! Еды прикупить, знахарке заплатить, ну и за ночлег -- ты только не стесняйся, прямо говори. К чему тебе разорение?

-- Обидеть хочешь?! -- Джуха аж подпрыгнул на скамье и сбил папаху набекрень.-- Вы двое -- моя гость! Любимый гость, кунак, живи, сколько надо! Ты, наверно, горы редко бывать, Гургин-ака... Закон не знать. В горы по-другому нельзя. Человек беда попади -- помогай надо! Гостя гнать -- позор! Деньга брать -- позор! Чтоб не слышать больше! Понял?

Джуха грозно свел косматые брови на переносице.

-- Понял,-- покладисто согласился Гургин.

И тронул бородавку: не пропала ли?

...Темнота. Тишина. Покой. Ничто.

А вот уже -- не тишина. Звук. Колокольцы. Издалека. А вот трещит что-то, постукивает.

Ближе, ближе...

Рядом.

Мрак редет, и из него проступает старушечье лицо. Морщины, складки. Скорбно поджатые губы скупно цедят слова, но смысла не разобрать -- просто слова.

Кап... кап... слова.

Лицо исчезает. Дым. Едкий, остро пахнет бедой. Горим, наверное. Пожар.

Эта мысль не вызывает никакого отклика -- попытки или хотя бы желания вскочить, бежать куда-то, спастись. И страха тоже нет. И на помощь звать не хочется.

Горим -- значит, так надо. Ну, сгорим. Что с того?

Пожар заканчивается, не начавшись. Дым уходит, уплывает, хоронится в щели... Ну и ладно. Не сгорим. Тоже хорошо.

Твердое тычется в губы. Наверное, надо бы их приоткрыть -- вот только получается плохо. Нет, получилось-таки.

-- Ляпс пей надо, родимый! Много пей, здоровей, сил набирайся... сил...

Слова. Одно смешное: л-ляпс! Пригоршня жидкой грязи -- и на мрамор. Ляпс. Пахнет луком и чесноком. Горячий. Вкусно. Только больше не хочется. Хочется назад, туда, в темноту без звуков.

И темнота приходит.

* * *

Тишина. Но темноты больше нет -- ушла куда-то, наверное. Камень. Вокруг -- камень. И над головой -- тоже. Сверху неуверенно сочится серость. Это свет. Такой свет. Совсем рядом -- руку протяни, достанешь! -- грязные циновки. Это пол. Такой пол. Чуть дальше -- круглый блин из камня; на блине стоит кувшин. Глиняный, кособокий. Ага, вон, еще дальше -- дверь, собранная из каких-то совершенно немислимых обломков дерева. Кажется, что-то подобное он уже видел. Серость, плоские камни, узкое оконце и -- дверь-урод. Где?

Нет, не вспомнить.

Снаружи доносятся голоса. Люди. Разговаривают. О чем -- не понять. Люди... А сам он -- кто? Человек? Да, наверное. Руки ползут по телу, щупают, трогают. Руки. И тело, по которому они шарят. Наверное, где-то есть и ноги. И голова. А вот на теле обнаруживается шрам. Под ключицей. И еще один, выше, прямо на горле. Шрамы хочется чесать. Но одна рука удивляет: два пальца короче остальных. Ну и ладно.

Удивление уходит вслед за темнотой.

Он -- человек. Это точно. Человек -- и все?!!

Нет ответа. Только гулкая пустота там, внутри, где должен лежать этот самый ответ.

И вновь -- тишина.

Темнота.

Вернулась.

* * *

Глаза открываются.

Видят.

Старца видят. Сухого, жилистого, с бородавкой над верхней губой, из которой растут жесткие черные волоски. Старец сидит напротив, почесывает свою бородавку и глядит прямо.

На него глядит.

На человека.

-- Наконец-то ты пришел в себя,-- скупая улыбка на морщинистом лице.

-- Я... пришел...-- слова выходят чужие, натужные, от них першит в горле, и человек на время умолкает, откашливаясь. Грудь саднит; это неважно. Важно другое.

-- Кто я, старик?

-- Кто ты? Одно время тебя звали Кей-Бахрамом, шахом Кабира-белостенного. Но ты задушил это имя собственными руками. А еще раньше, если мне не изменяет моя старческая память, ты называл мне другое имя. Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, бродяга и поэт.

-- Абу-т-Тайиб? Кей-Бахрам? -- человек по очереди пробует имена на вкус. Оба -- одинаково безвкусные. Никакие. Ляпс вкуснее: там чеснок и лук. И нет отклика в душе, ничего не поднимается из глубин спящей памяти. Спящей? Или умершей?..

Шах? Бродяга? Поэт? На последнем слове человек задерживается чуть дольше. Поэт.

-- Кто такой поэт, старик?

-- Тот, кто слагает стихи.

Тот, кто слагает стихи. Если он был поэтом, у него тоже должны быть стихи.

Наверное.

-- Эти имена -- пустой звук, старик. Почитай мне лучше стихи. Мои стихи.

-- Увы,-- разводит руками старец, и его голубые глаза предательски блестят.-- Я не могу... я не помню, не знаю... Неужели ты все забыл? -- старец на миг умолкает, не зная, как теперь обращаться к собеседнику.-- Мазандеран, пещера Испытания, Златой Овен? Вспомни! Ну вспомни же!

В хриплом голосе звучит отчаянная мольба.

Человек честно пытается вспомнить, раз за разом повторяя про себя странные слова, произнесенные стариком, и пытаюсь представить себе, что бы они могли значить.

Ничего.

Пустой звук.

Человек устало откидывается на изголовье.

-- Я болен, старик?

-- Ты очень сильно болен,-- старец глядит в сторону.-- Тебе требуется покой и хороший уход.

Мы делаем все, что в наших силах -- но...

-- Мы? -- вяло переспрашивает человек.

-- Я, наш добрый хозяин Джуха, знахарки из селения...

-- Хорошо. Спасибо. Тебе, Джухе и знахаркам.

-- Принести тебе поесть?

-- Не надо. Хотя... Поставьте еду где-нибудь рядом. Когда я захочу есть, я возьму сам.

При последних словах больного глаза старика странно вспыхивают.

Он ждет.

Но человек молчит.

-- Хорошо, отдыхай. Я больше не буду отвлекать тебя глупыми разговорами. Но... ты отказался от прежних имен -- как же мне называть тебя?

-- Зови меня Безымянным,-- равнодушно говорит человек, отворачиваясь к каменной стене.

3

-- Хадыжа-апа говори: плохо дела,-- Джуха подошел сзади, заставив Гургина вздрогнуть от неожиданности.-- Твоя друг уже вставай, только мало-мало. Голова совсем пустой. Ничего не помни.

Ничего не хоти. Помирай скоро. Только Джуха не понял: почему помирай? От глупой голова, да?

-- От безразличия,-- старец все смотрел на закат и не мог оторваться от зрелища похорон дня.--

Ему скучно жить.

-- Помирай хоти? -- сочувственно осведомился Джуха.

-- Нет. Он ничего не хочет -- ни жить, ни умирать. И поэтому скоро умрет. С одними ранами он бы еще справился -- он очень сильный человек. Был...

И старик снова, не моргая, уставился на заходящее солнце блекло-голубыми глазами.

Джуха стоял рядом, морща лоб. Думал. Наконец заговорил снова.

-- Слушай, Гургин-ака... Если он все вспоминать -- жить опять?

-- О, если бы он вспомнил! -- тяжелый вздох.-- Тот, кем он был прежде, очень любил жизнь.

Но, к сожалению, даже я не знаю, как вернуть ему память. И возможно ли это вообще...

-- А так он точно помирай? -- не отставал Джуха, явно лелея тайный замысел.

-- Да. Я вижу.

-- И Хадыжа-апа тот же слова говори! -- непонятно чему обрадовался горец.-- Значит, если мы его свой способ лечи -- хуже не бывай?

-- Не бывай,-- кивнул Гургин.-- Теперь хуже ничего не бывай.

-- Только ты Хадыжа-апа не говори! Она мой шибко ругать будет! -- зашептал Джуха прямо в ухо старцу, косясь по сторонам и отчаянно брызгая слюной.-- Есть способ! Храм Дядь-Сарт его везти надо! И на ночь оставляй! Утром мы приехать. Тогда твой друг или вспомнить все, или помирай!

Джуха подумал немного и добавил:

-- Или сначала вспомнить все, а потом помирай. Но так все один сдохнет. А так...-- и многозначительно умолк.

В следующий миг над горами раскатился протяжный, нечеловеческий вой, от которого, казалось, в ужасе содрогнулись сами скалы.

-- Горный Смерт! -- поднял вверх указательный палец Джуха.-- Хорошо кричи, молодец! Добрый знак.

-- Добрый?! -- поперхнулся Гургин, которому вопль подозрительно напомнил одного голосистого мазандеранца.

-- Ясно дела, добрый! -- уверенности Джухи не было предела.-- “Так и надо делай, вах!” -- говори. Громко говори, подбадривай! Завтра утром и повезти.

* * *

Одеться ему помогли. Безымянный не возражал; только очень спать хотелось. Все время. Даже когда его, почему-то стараясь не шуметь, вывели во двор, где ждали три низкорослых конька.

Безымянного подсадили в седло и предусмотрительно привязали к коню толстой мохнатой веревкой.

Это было правильно -- ведь с коня можно упасть. И тогда: снова боль, мешающая спать, уходить в спокойные глубины забытья, к которым он уже привык и совсем не возражал бы остаться там навсегда.

Они выехали из селения, и копыта коней застучали по камням узкой тропы.

Безымянный не смотрел по сторонам. Равнодушие пеленало его в серый кокон из пыли, такой же мохнатый, как веревка-хранитель. И лишь когда впереди, на востоке, показался из-за зубчатого хребта розовый краешек солнца, во взгляде привязанного к лошади человека появилось некое подобие интереса. Он знал, что это -- ПРАВИЛЬНОЕ солнце, и ему доставляло странное удовольствие смотреть на восход.

Он смотрел на солнце до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза.

...Безымянному было все равно.

Его куда-то везли, потом вели, вполголоса шепчась за спиной, после сунули в руки узелок, из которого вкусно пахло свежими лепешками; и наконец оставили в покое.

Безымянный огляделся.

Свет закатного солнца медленной патокой тек в крохотное оконце под потолком. Пылинки танцевали в луче, вертясь и подпрыгивая заблудшими душами в поисках божественного откровения; Безымянный подумал еще, что свет не выдывал более напыщенного сравнения; да и тьма, пожалуй, тоже не выдывала...

Мысль оказалась слишком длинной и сложной, чтобы додумывать ее до конца.

Ну ее.

В углу стоял алтарь, похожий на черный камень Каабы. Чуть дальше, у самой стены, притулился идол из серого песчаника, но на идола Безымянный смотреть не стал.

Он знал, что идолопоклонничество -- это грех.

Единственное: он не помнил, что такое грех, и плохо ли это.

Безымянный потер пальцем шершавый сланец стены, лизнул палец, сплюнув горькую крошку; и присел на корточки. Узелок он положил перед собой на пол. Узелок его сейчас не интересовал, до наступления голода. Зато сбоку, прикрученный тесемкой, обнаружился длинный сверток -- и любопытство вспыхнуло в Безымянном. Это было приятно: хотеть узнать и иметь возможность узнать.

Съесть лепешку -- тоже приятно, но не так.

Меньше.

Шелковый платок развернулся сам собой. Там, в скользких объятиях шелка, прятался пенал.

Роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях, сделанную из желтой бронзы. А внутри черешневого футляра мирно лежали два очиненных калама и бронзовый ножичек.

Маленький такой.

Безмянный встал и подошел к дверям. Ему захотелось уйти, но двери оказались заперты снаружи. У порожка, свернутое вдвое, валялось одеяло из колючей верблюжьей шерсти; поверх одеяла ждали своего часа огниво и пучок лучин.

Безмянный передумал уходить.

Он только стукнул кулаком в дверь: тихий вызов, бунт, от которого смешно щипало в носу, а на душе становилось тепло.

И вернулся к пеналу.

Чернильница была пуста. Безмянный огляделся: раз есть пенал, значит, должно быть что-то еще... что-то... еще... Нашел. На алтаре лежала книга. Огромный фолиант в кожаном переплете, с застежками из тусклого металла, похожего на серебро. Рядом стоял яшмовый флакон с притертой пробкой.

Безмянный подошел к алтарю. Взял флакон; с трудом выдернул пробку, получив в ответ короткий визг. Внутри, в полый гробнице, плескались чернила -- и это было правильно. Перелить часть их в чернильницу оказалось делом совсем простым. Безмянный даже почти не испачкался, только полу халата залил, но халат его не интересовал.

Его интересовала книга.

Первая страница была девственно чистой. Как вторая и третья. Безмянный макнул калам в чернильницу, подумал и опустил калам на алтарь. Зачем? И так красиво. Он подпер рукой подбородок и задумался. О белых страницах и черных чернилах. Думать о них было неприятно; а не думать -- плохо. Наверное, это и есть грех. Наверное, за него положено запирасть в одиночестве,

чтобы человек мог спокойно поразмыслить о важном, наедине с каламом и тишиной.

А потом надо будет съесть лепешки.

-- Нравится? -- спросили из-за спины.

Безымянный кивнул.

-- Ну-ну,-- сказали из-за спины; но уже гораздо ближе.-- Ты каллиграф?

-- Нет,-- с уверенностью сказал Безымянный; потом ему захотелось узнать, что такое каллиграф, но он постеснялся спросить.

-- И я -- нет,-- чужое дыхание жарко коснулось волос на затылке.-- Но у меня есть вино и немного зелени. А у тебя?

-- Пить вино -- это грех,-- наставительным тоном сообщил Безымянный, сам удивляясь собственным словам.-- Ибо сказано: “Вино превращает человека в похотливого пса, в грязную свинью!”

-- Тем, кого превращает, конечно, запретно,-- покладисто согласилось чужое дыхание.-- А тем, кого не превращает -- дозволено.

Довод показался Безымянному разумным.

Он обернулся и увидел рядом с собой худого человека, вид которого показался Безымянному знакомым. Горбатый нос, в запавших глазницах плещет немая усмешка, лоб изборожден морщинами... Человек улыбнулся и почесал себе переносицу. Безымянный улыбнулся в ответ и тоже почесал себе, но иначе: проводя пальцами от складки меж бровями по всей седловине носа до самых крыльев.

Утолять зуд было приятно; почти как утолять любопытство.

А думать о том, что сбрей Безымянный бороду -- и они с человеком из-за спины станут изрядно похожи... думать об этом не хотелось.

Ну его.

-- У меня есть лепешки,-- сказал Безымянный, осторожно вытирая калам тряпицей, найденной за пазухой, и пряча его обратно в пенал.-- Кажется. Я сейчас посмотрю.

В узелке, кроме лепешек, обнаружились катышки овечьего сыра и еще какой-то сыр -- скользкий, он плакал солеными слезами, скорбя о собственной участи.

Последней явилась плеть вяленого мяса, сплошь покрытая коростой перца.

Человек из-за спины тем временем рылся в углу, где раньше стоял идол. Извлек кувшин, оплетенный сеткой из сухих лоз, встряхнул его, насладившись бульканьем; и полез за зеленью.

-- Тебя как зовут? -- спросил человек из-за спины, нюхая пучок рейхана.

-- Меня?

-- Тебя. Неловко, понимаешь: собутыльники -- и без имен!

Последняя реплика подсказала ответ.

-- Меня зовут Безымянный,-- сказал Безымянный.

-- А меня -- Ожидающий,-- ничуть не удивившись, сказал человек из-за спины.-- Слушай, а рейхан совсем свежий... ишь, пахнет! К нему бы баранинки... с перчиком, с черемшой...

И кинул в рот фиолетовый листок.

-- Вот,-- Безымянный махнул вяленой плетью.-- Вот баранинка.

И мысль о баранинке, которую можно съесть под вино, которое одним запретно, а другим -- дозволено, показалась Безымянному приятнее всего на свете.

5

-- ...еще по одной?

-- Наливай!

-- А песню?!

-- Чей черед, Ожидающий? Я тебя спрашиваю: чей черед?! Гость, значит, через раз поет, а хозяин -- через два?!

-- Ты, гость, ври, да не завирайся! Хозяин черед знает! Я тебе пел: “Над горою кипарисы...”? Пел или как?!

-- П-пел! Перепел! Давай еще разок, хором: “М-мир лишь луч от лика друга... мир лишь луч...”

-- Не хочу хором! Ты пой, как уславливались!

-- Н-нет, ты меня не торопи! Раз Ожидающий, значит, жди и не выкобенивайся! П-понял?

-- П-понял! Жду и не выкобениваюсь!

-- А теперь скажи: обиделся?

-- Н-ну... ты лучше перстенок свой поверни камнем внутрь -- кому охота в темноте сидеть?

Ишь, светосос...

-- Ты не юли, ты отвечай: обиделся?

-- Отвечаю: да. Убил бы, только некогда.

-- Правильно! Если б ты не обиделся, я б тебе в жизни петь не стал! Ни словечка! Бродим по миру теньями бесплотными, бродим по крови, которую пролили; жизнь моя, жизнь -- богохульная проповедь! Ныне молчу... молчу! Ныне... Слушай, Ожидающий, скажи мне лучше; кого больше -- живых или мертвых?! Ну скажи: кого?!

-- Ты украл чужой вопрос, Безымянный.

-- Знаю! А откуда знаю, не знаю! Это спросил Искандер Двурогий у нагих мудрецов из страны Синдху! Смешно: мудрецы -- с голой задницей! Чтоб мудрость лучше отсвечивала...

-- И что ответили мудрецы Искандеру?

-- Живых больше, ответили задницы; мертвых не существует. Представляешь, Ожидающий: мертвых не существует! Совсем! Ты мне веришь?

-- Верю.

-- А задницам?

-- И задницам верю. Особенно голым.

-- Где мой пенал? Где мой пенал, я тебя спрашиваю?! Мне просто необходимо это записать в твоей книге: мертвых не существует! Заглавными буквами! Где мой... а-а, вот он! Где книга?!

-- Перед тобой.

-- А я пишу! Е рабб, я пишу! Вот: “Мерт... мертвых не существует!” И еще: “Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!” И еще: “Где ты, жизнь Абу-т-Тайиба, где вы, месяцы и годы? Тишина. И на коленях дни последние стоят”. И еще...

* * *

Безымянный отшатнулся.

Опьянение талой водой оплыло с него, иступленные сквозняки продули сознание насквозь; сейчас он мог только стоять и смотреть, как на белизне книжной страницы, испещренной его записями, проявляется новый текст.

Алиф, лям... штрихи, точки, завитки...

“Аль-Мутанабби (Сам-Себе-Пророк, Выдающий себя за пророка) Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн. 915 -- 965 г. г. по христианскому летоисчислению (302 -- 354 г. г. лунной хиджры). Потомок южноарабского племени Бану Джуф, с двенадцати лет избрал путь профессионального странствующего поэта. Добился признания, состоял при дворах эмиров Сирии, Египта и Ирака; высшего успеха и славы достиг в Халебе, при дворе эмира Сайфа ад-Даула. Убит из мести за сатирические стихи. Оказал влияние на персидскую поэзию.”

И еще:

“Ханна аль-Фахури сказал: “Ему были свойственны воинственность, решимость в риске,

бесстрашие, неиссякаемая энергия... Аль-Мутанабби обладал такими качествами, как стойкость, непоколебимая решительность, и никакие превратности судьбы не могли заставить его пасть духом.”

И еще:

“...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени -- алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырыми дровами...”

Когда Абу-т-Тайиб наконец захлопнул книгу и обернулся -- собутыльника, минутой ранее выяснявшего черед дружеского пения, рядом не было.

Лишь в углу молчал идол из серого камня; но на идола поэт смотреть не стал, потому что идолопоклонничество -- это грех.

-- Не складывается жизнь...-- поэт сложил калам с ножичком в пенал, плотно закупорил чернильницу и стал заворачивать пенал в платок.-- Нет, не складывается...

“Какая жизнь? -- беззвучно спросили из угла.-- Какая, приятель -- та или эта?”

-- Неприкаянный я, перекасти-поле... носит ветром, и куда ни занесет, везде одно и то же!..

“Ты сказал! -- плясали пылинки в луче зари рассвета, и молчал алтарь с книгой в кожаном переплете.-- Ты сказал... ты...”

Абу-т-Тайиб подошел к двери и стал колотить в нее кулаком.

Открыли не скоро.

КАСЫДА О ВЗЯТИИ КАБИРА

Не воздам Творцу хулою за минувшие дела,
Пишет кровью и золою тростниковый мой калам,

Было доброе и злое -- только помню павший город,
Где мой конь в стенном проломе спотыкался о тела.

Помню: в узких переулках отдавался эхом гулким
Грохот медного тарана войска левого крыла,

Помню: жаркой требухою, мертвым полем под сохою,
Выворачивалась площадь, где пехота бой вела.

Помню башню Аль-Кутуна, где отбросили к мосту нас,
И вода тела убитых по течению влекла,

Помню гарь несущий ветер, помню, как клинок я вытер
О тяжелый, о парчовый, кем-то брошенный халат,

Помню горький привкус славы, помню вопли конной лавы,

Что столицу, как блудницу, дикой похотью брала.

Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур облаченный,
А со стен потоком черным на бойцов лилась смола --

Но рука Абу-т-Тайиба ввысь указывала, ибо
Опускаться не умела, не желала, не могла.

Воля гневного эмира тверже сердцевины мира,
Слаще свадебного пира, выше святости была.

Солнце падало за горы, мрак плащом окутал город,
Ночь, припав к земле губами, человечью кровь пила,

В нечистотах и металле жизнь копытами топтали,
О заслон кабирской стали знатно выщерблен булат!

Вдосталь трупоедам пищи: о стервятник, ты не нищий!..
На сапожном голенище сохнет бурая зола.

Над безглавыми телами бьется плакальщицей пламя,
Над Кабиром бьет крылами Ангел Мести, Ангел Зла,

Искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться --

Плачь, Златой Овен столицы, мясо бранного стола!

Плачь, Кабир -- ты был скалою, вот и рухнул, как скала!
...Не воздам Творцу хулою за минувшие дела.

Глава двенадцатая,
полная загадок без разгадок, вопросов без ответов,
мудрости и глупости, а также воодушевленных разговоров;
но то, что богомolec-ходжа обязан после обхода Каабы
посетить Стоянку Авраама --
это так и остается невыясненным.

1

Во дворе постоялого хана плясал дервиш. Исступленно, самозабвенно; третий час плясал. Метались полы одежд цвета меда, билась стягом траура лиловая накидка, противореча танцу; высокая шапка-конус, крестообразно обмотанная чалмой, чудом удерживалась на голове -- а ноги странника переступали, притоптывали, отбивали неслышный иным ритм, сгибались в коленях, подбрасывали в воздух сухое тело...

Неподалеку, ближе к коновязям, валялся посох с железным набалдашником.

И еще: котомка, откуда высовывалась другая шапка, в форме ладьи, испещренная письменами -- будто чайка прогулялась по мокрому песку.

-- Ай, святой человек! -- дирюльник ловко шлепнул на макушку клиента горсть мыльного

настоя и ухватил помазок из конского волоса.-- Ай, славно пляшет, душу Аллаху выворачивает!

-- Это ересь или дурость? -- поинтересовались из-под пенного тюрбана.

-- Свою душу перед Аллахом, я хотел сказать! -- спешно исправился цирюльник, с удвоенным рвением работая помазком; потом он потянулся за бритвой.-- Я б так сплясал, и сразу в рай... лба не утерев...

Клиент хотел было кивнуть, выражая согласие с мнением просвещенного цирюльника, но побоялся: уж больно остра была бритва.

Кому охота оставшийся век корноухим ходить?

Дервиш тем временем завертелся волчком, вскинул правую руку к небу, а левой ухватил подол собственной накидки. Святой человек был безбород, безволос, даже брови его были аккуратно выщипаны по волоску. Возраст славно поработал над лицом странника, и складкам с морщинами негде было укрыться -- выставились на всеобщее обозрение, втайне мечтая о бороде-спасительнице.

-- Потом отрасли,-- цирюльник угадал тайные мысли клиента.-- Все у него будет, и борода лопатой, и усы ручьями... Обет он принял, небось, на тысячу ночей и еще одну, покаянную. Я на таких насмотрелся, господин хороший, все их повадки изучил! Вот сейчас вы голову бреете, а завтра этот дервиш придет! Ну, не завтра, пусть через месяц -- какая разница? Мимо цирюльни никто не ходит...

-- Ты б болтал поменьше,-- донеслось снизу.-- Неровен час, порежешь!

-- Я?! -- возмущению цирюльника не было предела.-- Я мухе усы обрею и лишку не сниму!

Когда я брил голову светлейшему Харуну, наместнику Басры...

Клиент ухмыльнулся, отважно рискуя ухом.

-- Светлейшему Харуну, говоришь? Наместнику Басры? Это случайно не Харуну Праведному, лучшему из халифов? А по ночам в народ ты с ним не ходил?

-- Светлейший Харун тогда еще не был даже престолонаследником,-- наглости цирюльника не

было предела.-- А после их светлость Харун перебрался из Басры в Дар-ас-Салам, а я -- сюда, так что не знаю, не знаю, кто там с кем в народ хаживал!

-- Выходит, ты меня лет эдак на двести постарше будешь? А, брадобрей?

Цирюльник лишь усмехнулся -- веселый заказчик попался! -- и продолжил ловко орудовать бритвой. Которой некогда, начиная с правой стороны и заканчивая левой, брил басрийского наместника Харуна, потом -- привередливых жителей Медного города; сейчас же делал красивым разговорчивого клиента по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

А дервиш все плясал.

* * *

...Гостеприимец Джуха предлагал гостям остаться у него. Навсегда. Мол, всем селением обустроим, саклю поставим, кур там, овец... невест сосватаем! Поэт не сомневался: дай они с Гургином согласие, и завтра же горец вывернет весь свет наизнанку, а обещание выполнит! Таков уродился. Соседи-всезнайки успели шепнуть, что и отец Джухи таков был, и дед... Однажды пять аулов разбойника Джукмара ловили -- грабеж грабежом, все горазды, а этот на женщину руку поднял, вшиголовый! -- так разбойничек в саклю деда Джухи вломился и к ногам упал.

-- Гость,-- кричит.-- Гость я!

А у самого кровь по лицу...

Не тронули горцы Джукмара-лиходея: дед у входа с кинжалом стал, и трое суток не евши, не пивши, охранял гостенька.

После до перевала проводил и сказал тихо:

-- Иди, добрый человек! Далеко иди, мой глаз не видеть -- иначе у Горный Смерт ночевать!

А внук Джуха, если соседским языкам верить, и деда с отцом вдвое переупрямил.

Нет, поэт с магом не собирались испытывать на прочность гостеприимство хозяина. И оставаться здесь, в горах без названия, не собирались. Поэт ненавидел горы. Каждая скала, каждое ущелье напоминали ему о том, о чем хотелось забыть раз и навсегда. Только не получалось. И Абу-т-Тайиб понимал: после ночи в храме, ночи, смысл которой остался для поэта темен, память вернулась к нему иной. Теперь он ничего не забывал. Захоти Абу-т-Тайиб припомнить шуточную строчку, которой позабавил Аллах весть когда эмира халебского -- строчка приходила сама. Ждала, вертелась красоткой перед зеркалом; звенела бубном. Так и лица: друзья, враги, мать... Дэв, Нахид, веселый хург...

Но в горах он больше жить не мог; не мог, даже зная, что забыть прошедший год, год безумия, находок и потерь,-- тщетная надежда.

-- Ты счастлив? -- как-то спросил его Гургин.

-- Да,-- без колебаний ответил поэт.-- Я счастлив. Я достиг цели, я взял сам, и потерял сам. Я счастлив. А ты?

Маг не ответил.

Джуха вызвался проводить гостей до перевала Баррах, но гости вдруг решили ехать в Медный город. С перевала дорога вела их в Кабир, куда оба возвращаться не желали. Поэт -- по вполне понятным причинам; маг -- из страха. Он так и сказал поэту: боюсь. Однажды я уже пережил это: возвращение не туда, откуда уезжал. Нужно обождать, сказал он, нужно пережевывать страх зубами времени, проглотить и запить холодной водой. Может быть, тогда...

Может быть.

Двое стражников-близнецов, собирающих пошлину у въездной заставы, неожиданно показали Абу-т-Тайибу чуть ли не милей кровных родичей. Такие они были... настоящие. Свои. Рыжие чекмени, треухи норовят сползти на лоб; и сквалыжничество обоих походило на дым родного очага. Жаль, денег у путников не нашлось. А маг на вопрос поэта о деньгах откликнулся крайне

двусмысленно, хотя сам обещал Джухе чуть ли не озолотить горца за приют.

-- Сейчас нет,-- вот что сказал старый хирбед.

Пришлось торговаться. Стражники упирали на то, что за двоих уважаемых людей они хотят получить пенал из мореной черешни; и вдобавок кинжал, подаренный на прощанье Джухой. Иначе, дескать, откроется истинная суть путников, а бродяги, хоть и стоят гораздо дешевле, но пропускаются в город через одного, во избежание.

Выбирайте, уважаемые: кто пойдет, кто останется?

В конце концов сошлись на кинжале и пуховой чалме, сохранившейся у поэта со времени его былого шахства.

Зато в городе, едва оба несостоявшихся бродяги миновали ворота, Гургин повел себя крайне возбужденно. Разыскал ближайшую чайхану, где собирались местные саррафы - менялы и ростовщики; и долго выпрашивал у них, кто является старшиной цеха. Сперва с назойливым стариком и разговаривать не захотели. Но маг распорол подкладку халата и извлек оттуда треугольный лоскут кожи, сплошь покрытый мелкими значками. Лоскут мигом превратил заносчивых павлинов в подхалимов-вертишеек, а старшина цеха объявился джинном из волшебной лампы.

Не прошло и получаса, как поэт стал обладателем увесистого кисета с динарами; такой же кисет и другой лоскут, поменьше, Гургин спрятал у себя.

-- Вернемся? -- поинтересовался маг и подмигнул спутнику, что было менее всего похоже на прежнего Гургина.

-- Выкупим кинжал?

Догадка поэта оказалась верна.

И вскоре они, с кинжалом и при чалме, устраивались на ночлег в постоялом хане хромого Кумара.

Впервые, что ли?

Укладываясь спать в отведенной им келье, поэт долго мучал мага разговорами. Все представлял вслух, как вернется домой, в Халеб или Дар-ас-Салам, как купит дом, примется восхвалять местного владыку и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом-динарами, как будет поносить скупых, вышибая подачки острословием, как возобновит переписку с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в “Книгу песен” последнего; и в конце концов, давно пора бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души...

-- Дай поспать! -- наконец не выдержал Гургин.

И поэт до самого рассвета улыбался, глядя в потолок.

А то, что улыбка выходила чуточку грустной -- так ее все равно никто не видел.

2

-- Освежить? -- теплым полотенцем цирюльник вытер гладкую макушку клиента.-- Есть отвары трав редких, драгоценных; есть благовония шамсийские, согдийские, дамасские; есть...

-- Не надо.

-- Бороду подкрасить? Хной пройдемся? -- говорят, женщины любят рыжих!

-- Врут.

-- Кто врет? -- опешил цирюльник.

-- Те, кто говорят.

Ханщик, стоя у кухни, откуда доносилась ругань стряпух, расхохотался. Даже за пляской дервиша перестал наблюдать. В кои-то веки болтуна-цирюльника осадил! -- а в наше тихое время вошь сдохнет, и то событие...

Удачное утро складывалось у хромого Кумара.

-- Ты его больше слушай, почтенный! -- крикнул он Абу-т-Тайибу.-- Он тебе уши вьюнками заплетет -- моргнуть не успеешь, залезет в шальвары и обрежет по второму разу!

Цирюльник обиженно поджал губы, а поэт не стал объяснять ханщигу, что еще при первом своем появлении в Медном городе имел беседу вот с этим болтливым цирюльником. И про его отъезд из Басры слышал, разве что о наместнике Харуне брадобрей тогда не вспоминал.

И правильно делал.

-- Это Румиец,-- вытирая руки передником, на пороге кухни объявилась дородная стряпуха, и кивнула головой в сторону дервиша.-- Звать Джалалом, а Румиец -- это прозвание у него такое. Он уже неделю пляшет. Вчера на базарной площади, позавчера -- в квартале кузнецов; сегодня вот к нам заявился... Тетка моя спросила у него, осмелилась: какими, мол, ветрами, божий странничек? А он шапку оземь и хохочет: дескать, трижды помер, пока до вас добрался! Оттого и пляшу, значит...

Все засмеялись: и хромой Кумар, и стряпуха, и цирюльник-пустозвон, и пятеро купцов, восьмой день державших постой в этом хане.

Засмеялся и Абу-т-Тайиб.

Хорошо, что цирюльник в этот момент не видел лица поэта; а еще лучше, что бритвы в руке не держал.

Дервиш тем временем резко оборвал пляску, собрал свои пожитки и пошел прочь, не оборачиваясь.

-- Я эти танцы видел,-- сообщил один из купцов, оправляя кушак.-- Мы когда из Коньи от монголов бежали, насмотрелись: султан Изеддин таких плясунов привечал, набрал великое множество... в рай думал на их горбу въехать. Ан не въехал...

Поэт продолжал улыбаться. Время ничего не значит. Пространство ничего не значит. Мертвых нет; совсем. Если здесь есть ничтожный раб Аллаха по имени Абу-т-Тайиб, то почему бы и не стоять

где-то некой Конье, откуда стоит бежать, не дожидаясь каких-то монголов? -- и султан Изеддин вполне мог родиться вчера или завтра.

Это пыль.

Это прах; и домыслы несведущих.

Истинно то, что происходит с тобой; но истинно и другое, то, что происходит с остальными людьми и нелюдьми -- а искать меж первым и вторым скрытые соответствия...

Полно, уважаемые!

И пляска исступленного дервиша говорит сердцу больше, нежели выводы ученых.

Мертвых не существует.

Совсем.

* * *

У ворот хана послышалось бряцанье колокольчиков. Хромой Кумар мигом вылетел наружу, забыв про хромоту, а минутой позже принялся обустроить целый караван. Не торговый -- богомольцы. Из святого хаджа идут: вон, почти у всех зеленые чалмы паломников, посетивших Мекку. Богомольцы мало интересовали поэта: он расплатился с цирюльником и собрался было идти завтракать, как увидел Гургина.

Старый маг прятался в тени карагачей, близ водоема, и манил поэта пальцем.

-- Что случилось? -- осведомился Абу-т-Тайиб, подходя.

-- Это наши,-- палец мага, сухой и мосластый, теперь тыкал в паломников.

Дрожа осенним листом.

-- Наши?

-- Да, кабирцы. Помнишь: "И паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в

состоянии его совершить!” Когда мой шах...

Маг замолкает и долго жует впалыми губами.

-- Когда ты...

-- Я помню,-- обрывает его поэт.-- Я теперь все помню.

И смотрит на богомольцев.

Один из них, дряхлый патриарх, согбенный непомерной тяжестью лет, замечает этот взгляд. И вопросительно глядит в ответ, моргая белесыми ресницами: что, мол, надо, добрый человек?

Абу-т-Тайиб делает глубокий вдох и идет к патриарху.

-- Из Мекки путь держите, рабы Аллаха? -- спрашивает он после долгих изъяснений вежливости.

-- Из нее,-- степенно кивает патриарх, довольный возможности поговорить с новым человеком.-- Давно идем, тридцатый годок скоро... ничего, теперь уж недолго осталось!

-- Это хорошо, что недолго... А через какие ворота мой отец вступил в мечеть?

-- Через Баб-аль-Салам, о любопытный, через “Ворота Приветствия”. И пройдя под аркой, читал без устали известные молитвы, выученные в тяжком пути!

-- Я полагаю, Господь миров предоставит моему отцу в раю никак не меньше двух сотен гурий, чьи прелести несравненны! А дозволено ли будет спросить: как отец мой совершал обход Каабы?

-- семью обходами, о любопытный, и три из них я совершал бегом, насколько позволял мне мой возраст, а четыре -- медленным шагом.

-- И отец мой после святого обряда посещал цирюльню?

-- Конечно, о любопытный!

-- А что сделал цирюльник с обрезками волос и ногтей моего отца?

-- Зарыл в священную землю, о любопытный, не пропустив мельчайшей частицы -- и обет с

тех пор считается выполненным мною!

-- И когда же мой отец решил отправиться в паломничество, да будет добрая участь его вечным спутником?

-- Давно, о любопытный, давно, говорю тебе, покинул я Кабир-белостенный с товарищами моими! В тот год, отмеченный благими знаменьями, открылся перед нами свет истины -- стараниями владыки нашего, шах-заде Суришара, вместе с кулаком принявшего на себя имя Кей-Бахрама, да сиять его фарру... Эй, любопытный! Что с тобой? Тебе плохо?!

-- Не знаю,-- плотно зажмурясь, отвечает Абу-т-Тайиб.-- Не знаю, отец мой.

Поэт не врет.

Он действительно не знает.

3

Когда полдневная жара разогнала всех обитателей хана, Абу-т-Тайиб чуть ли не за шиворот выволок мага во двор.

-- Завязывай! -- он сунул в руки Гургину шелковый платок, куда раньше заворачивал пенал.-- Глаза мне завязывай, говорю!

Маг повиновался, пребывая в недоумении.

-- Теперь раскручивай!

-- Что?

-- Меня раскручивай! В “Джинн-бежим!” не играл?

Маг пожимает плечами. Он не играл в игру со странным названием “Джинн-бежим!”; он вообще почти не играл в игры детей, с младенчества приобщаясь к тайнам хирбедов -- но если поэт настаивает...

Руки Гургина хватают поэта за плечи и вертят, вертят, пока Абу-т-Тайиба не начинает качать и без чужой помощи.

-- Теперь спрашивай: где Басра?

-- Где Басра? -- послушно спрашивает маг.

Минута задержки -- и рука поэта указывает на северо-восток.

-- Там. Крути еще!.. еще! Спрашивай: где Нумания?

-- Где Нумания?

-- Там... е рабб, там! Крути... крути! Спрашивай: где Кабир? Спрашивай, чтоб тебя ифриты разодрали! Ну?!

-- Где... где Кабир?

Поэт останавливается. Он стоит прямо, вращая в землю вековой чинарой, от головокружения нет и следа; рука Абу-т-Тайиба медленно поднимается и указывает вдаль.

Рывок -- и повязка сорвана.

-- Мой шах,-- бормочет старый хирбед, бледнея лицом.-- Мой... шах...

-- Ударь меня! Ты слышишь: ударь меня! Живо!

В ответ ладонь мага входит в чувствительное соприкосновение со щекой поэта. Ноги подламываются в коленях, Абу-т-Тайиб с размаху садится, ударяясь оземь сиденьем, дарованным Аллахом всякому человеку, и смеется смехом ребенка.

-- Ф-фух... А я уже испугался: шах, мой шах! Ну и рученька у тебя, Гургин-богатырь, такой не Ал-Ребаты открывать, а слонов опрокидывать...

Маг молчит.

Испуг мало-помалу выходит из старика ознобом и холодным потом.

Испуг того мига, когда он увидел: там, куда указывал поэт в последний раз, воздух заплясал киселем открывающегося Ал-Ребата.

Без жаровен и дэвов.

4

В этой чайхане они уже сидели год назад; и память о дерзкой хирбеди, требовавшей, чтобы наглого чужака бросили у пещеры Испытания, больно кольнула в сердце. Хозяин заведения, толстяк Али, тоже был прежний -- вот только постарел он, что ли? Впрочем, возраст чайханщика волновал Абу-т-Тайиба меньше всего; а мага не волновал вовсе. Поэт открыл было рот: спросить гранатового сока! -- но вовремя опомнился. И, мысленно вытерев лбом покаяния престол Всевышнего, заказал вина. Красной крови лоз, седой от пузырьков родниковой воды, каковую следует добавлять в необходимом количестве, для радости заказчика, а не для выгоды продавца. К вину требовалось подать плоский хлеб с корочкой, покрытой сладкими ожогами, кебабы рубленые, томленные, а также жареные на решетке, вкупе с укусным супом из барбариса; свежих фруктов не надо, вместо них несите сушеный инжир, фисташки, тминные прянички...

В итоге поэт с уважением смотрел на сплошь заставленный стол; а маг с уважением смотрел на поэта.

-- Совсем выздоровел! -- скупая усмешка растянула губы старца; и он, ухватив дрожащей рукой кувшин, основательно приложился к нему.

Когда маг ставил кувшин обратно, дрожь в его руках унялась.

-- Да ты ж вроде трезвенник?! -- запоздало изумился Абу-т-Тайиб, но старик только рукой махнул: с тобой, мол, и праведник детей резать начнет!

-- Молодец! -- на всю чайхану возгласил поэт.-- Этот старец поклоняется веселью, и прекрасно прославлять его стихами -- ибо видим патриарха мы с похмелья меж кувшинами с вином и бурдюками!

После чего пододвинул ближайшую миску и впился остатками зубов в сочное мясо.

Желудки наполнялись, блюда пустели, царивший в голове сумбур улетучивался восвояси, и превратности жизни мало-помалу начинали казаться пустяками, не заслуживающими внимания; минута в чайхане, оказывается, вполне стоит года воздержания и наоборот, а баловать чрево есть признак благодушия...

-- Честь имею приветствовать достойных сотрапезников!

У стола обнаружился лысеющий человечек, облаченный в узкие шальвары и кургузый казакин из одинаковой ткани: синей, плотной, какая чаще идет на обивку паланкинов. В одной руке человечка булькала бутылка, в другой -- дымилась плошка с пловом.

-- Валент бен-Шамаль, мудрец,-- без всяких предисловий представился гость.-- Свидетель падения Трои, Рима, Кабира и гетеры Авлиды Херсонесской (последнее свидетельствовал дважды)! Позвольте присоединиться?

На пехлеви Валент бен-Шамаль говорил бегло, слегка пришепетывая.

-- Валяй, Валент,-- кивнул Абу-т-Тайиб, а Гургин лишь покосился на бен-Шамалья и кинул в рот пряничек.

Упрашивать человечка по второму разу не пришлось.

-- Кой же тебе годик, мудрец? -- шутливо осведомился поэт, когда бен-Шамаль уселся за стол напротив него.-- Ишь, погулял: Троя, Рим, Кабир...

И недожеванный кусок встал поэту поперек горла.

Кабир!

Свидетель ПАДЕНИЯ Кабира!

В следующую секунду Гургин подавился пряничком и заперхал, так что пришлось долго хлопать мага по костлявой спине.

-- По какому календарю считать будем? -- хитренькие глазки Валента бен-Шамалья

сощурились.-- А если без календарей, то мне сегодня стукнуло ровно сорок! От рождества вашего покорного слуги. Чем не повод для выпивки в чудной компании? Стопольское грызло, тройной перегонки -- такое вы здесь вряд ли найдете!

Кружки мигом наполнились, и, выпив за долгие лета Валента, поэт мысленно согласился с последним заявлением мудреца. Видимо, возглашая запрет на вино, пророк (благо ему!) не имел в виду стопольского грызла тройной перегонки. А если бы имел, то удержал бы святой язык и обошелся без запретов, тихо спившись еще до начала пророчеств.

Огонь, не вино!.. водичкой, водичкой запить... водичкой... ф-фух!

-- Кстати, о каком это падении Кабира ты упомянул, почтенный мудрец? -- как бы невзначай поинтересовался Абу-т-Тайиб, а Гургин только наострил уши.

-- Науке в моем лице известно лишь одно падение Кабира! -- заявил Валент, являя собой пример того, что после первой не закусывают.-- Одно-единственное, тридцатилетней давности... если считать по тамошнему календарю. Когда с Белых гор Сафед-Кух спустился неистовый и мятежный вождь племен Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в минуту битв пел громко и радостно, слагая песню смерти!

Валент перевел дух и запил тираду новой порцией грызла.

-- Город был осажден и взят штурмом, а шах Кабира сражен в поединке самим Абу-т-Тайибом -- и поэт-воин воссел на престол, отказавшись от шахского кулаха в пользу титула эмира, военного вождя. Вот это был человек, я понимаю!

-- Был? -- тупо переспросил поэт, прихлебывая дар бен-Шамалья маленькими глоточками; что само по себе было удивительно.-- А где он сейчас?

-- Помер, ясное дело! -- бен-Шамаль поразился неосведомленности собеседника.-- Лет десять как помер. От старости.

Гургин вкрадчиво пододвинулся ближе.

-- А уверен ли досточтимый в подлинности своего рассказа? Видел ли он это собственными глазами, пользовался ли свидетельствами уважаемых людей или внимал слухам?

-- Слухами пользуются лже-мудрецы, позор исторической науки, которую я в данный момент представляю! -- гордыней бен-Шамаль вполне мог поспорить с самим Иблисом.-- Я же привык отвечать за свои слова! Иначе разве сам великий Кей-Кавун доверил бы мне писать летопись Ории, моей родины? Разве взялся бы я за “Око Сциллы”, жизнеописание славного народа дхаров, если бы не провел меж ними большую часть жизни? А на мой трактат относительно Ахиявы, которую пустозвоны именуют Элладой, ссылается лично Гермес Трис... Трис... Трисмегист, вот! Хотя...

Уже изрядно захмелевший бен-Шамаль наклонился к собеседникам и зловеще прошептал на всю чайхану:

-- Я открою вам тайну тайн! История -- лженаука. Ее не существует! Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным! Ни одно! Если вы услышите, будто ахейцы десять лет брали Трою, или что Кабир пал под натиском орд аль-Мутанабби -- плюньте лжецам в морду! Не верьте им! И мне не верьте, когда я говорю вам об этом!

Бен-Шамаль хитро усмехнулся и, оставив собеседников в изрядном недоумении, вновь припал к своей кружке. Он явно вознамерился напиться, и его мастерство в этом деле было очевидно -- так что задавать вопросы следовало поскорее.

Если, конечно, Абу-т-Тайиб хотел получить связный ответ.

-- Подробности, уважаемый, подробности! Мы жаждем услышать о славных делах прошлого, которых на самом деле не было! Поверь, история Кабира вдохновляет нас на подвиги, и если мы до сих пор их не совершили, то лишь по одной причине: неимению сведений! О, молим -- не прекращай дозволенные речи!

-- Верю! -- резкий кивок, и зачесанные назад волосы бен-Шамала падают ему на глаза, являя взорам плешь, подобную зарождающемуся светилу.-- Вдохновляю! Когда, более полувека назад

(по кабирскому календарю, уважаемые, по кабирскому!) на сто семьдесят девятом году жизни безвременно скончался великий шах Кей-Кобад, на смену ему пришел молодой и горячий Кей-Бахрам, прежде носивший имя Суришара. Правление его было безоблачным в течение двадцати шести лет, пока на шахство не обрушились племена Белых гор под предводительством поэта-воителя. Как я уже говорил, город был взят приступом, шах погиб в поединке, и на престол воссел первый эмир Кабира, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби. Позже эмир принял на себя кунью “Абу-Салим”, то бишь “Отец Салима”, по имени своего первенца от бывшей хирбеди Нахид, которую вскоре по восшествии на престол взял в жены, устроив большие свадебные празднества.

-- Дальше! -- выдохнул поэт.-- Дальше!

-- А дальше, как известно, новый владыка занялся расширением границ своего эмирата. Разделив войско на четыре части, сам он двинулся по дороге Барра, ныне Фаррскому тракту, к Мэйланю; его верный соратник Худайбег аль-Ширвани возглавил поход на Харзу, и после падения Харзы войска Худайбега соединились на Дубанских равнинах с конными полчищами Антары Абуль-Фавариса, успевшего к тому времени растоптать Хинское ханство и вольный город Оразм. Вскоре их объединенные силы взяли приступом Дурбан. Тем временем полки Утбы Абу-Язана, эмирского побратима, прошли по землям Феса и осадили Кимену -- взяв пред тем с торгового Бехзда вассальные грамоты. И попробовали бы торгаши не подписать!

Глаза бен-Шамалая азартно горели, а бутылка с грызлом едва успевала кланяться и выпрямляться, подражая льстецу-царедворцу.

-- При штурме Кимены веселый Утба погиб, сдерживая натиск копейщиков, но город был взят! На чем эпоха великих войн завершилась, и на территории Кабирского эмирата, от барханов Верхнего Взя до масличных рощ Кимены, воцарился мир. Который, насколько мне известно, длится по сегодняшний день. Сейчас эмиратом правит эмир Салим, сын покойного аль-Мутанабби, славясь добродетелью. О, я мог бы рассказывать еще долго: о предсмертном пророчестве верховного хирбеда

Гургина, зарезанного пьяным горцем при штурме Кабира (от этих слов Гургин подпрыгнул на скамье, плюясь недожеванным мякишем), о небывалом расцвете изящных искусств, в частности -- искусств воинских; о культе Творца, сменившем культ Огня Небесного -- но тогда, боюсь, нам не хватит времени и до завтрашнего утра!

И Валент бен-Шамаль отдал дань кружке.

-- Ты бы не частил так, уважаемый,-- только и смог растерянно выдать Абу-т-Тайиб.-- Ведь написано в Коране...

-- А мне Коран не указ! Ибо вкушаю плоть и кровь Господа нашего по мере слабых моих возможностей! -- выкрик бен-Шамала привлек к себе внимание всех завсегдатаев чайханы.-- Взыскуя Истинного Лика, тщусь возобладать над... и под. Вот вам, обрезанным!

-- Истинный Лик? -- Гургин наконец справился с собой.

-- Да! Истинный Лик коренного ха... дха... дхарянина! И если ко мне опять начнут приставать эти... то я им...

Кусок репы плюхнулся прямо на колени к разбушевавшемуся мудрецу, забрызгав медовым сиропом его чудную одежду.

Репой, как вскоре выяснилось, кидался из угла некий раскосый молодец в фартуке сапожника -- и пьян молодец был тоже как сапожник, в стельку.

Видимо, бен-Шамаль был не одинок в достижении Истинного Лика.

Поймав на себе взгляд всей троицы, сапожник довольно заухал.

-- Он им! -- кулак молодца указал на бен-Шамала, а ладонь второй руки похабно рубанула по сгибу локтя.-- Он, понимаешь, им! Ты б Стополье лучше отдал, мятежник! Понял?

Кажется, Абу-т-Тайиб с Гургином уже видели молодца. Здесь же. Год назад. Правда, тогда он был заметно трезвее -- впрочем, если предположить, что сапожник не вылезал из чайханы весь прошедший год...

-- Вот тебе, Марцелл! Выкуси! -- поклонник лженауки истории кинул репу обратно, но попал не в сапожника, а в чайханщика Али; и попал, надо заметить, весьма удачно: прямо в разинутый рот. - Родное Стополье?! Отчий дом?! Где куст калины?! Где я без штанов?.. Никому не отдам! Погоди у меня -- вот допьюсь до Истинного Лица, шиш ты у меня заново срастешься! Изыди!

Сапожник, как ни странно, внял.

И захрапел на всю чайхану.

-- И вот так всегда! -- повернулся бен-Шамаль к поэту, ища у того сочувствия.-- Только сядешь выпить с приличными людьми -- лезут всякие! Стополье им подавай!

-- А оно что, твое, это Стополье? -- осторожно осведомился поэт.

-- Нет, конечно! Вино там хорошее делают...-- без видимой связи добавил историк и допил остатки прямо из бутылки.

-- Так почему они к тебе пристают?

-- А я знаю? -- глухо булькнули остатки.-- Все равно не отдам!

-- Так ты говоришь, что аль-Мутанабби...-- поэт сделал было попытку вернуть собеседника к исходной теме, однако ответ бен-Шамаля на еще не заданный вопрос мгновенно поставил его в тупик.

-- А кто такой аль-Мутанабби? -- заплетающимся языком спросил в свою очередь историк.- Знать не знаю! Это который “Касыду о Мече”, да? -- “...подобен сиянию моей души блеск моего клинка...”? От-т-личные стихи! А кто такой аль-Мутанабби -- не знаю...

И Абу-т-Тайиб понял, что от историка он больше ничего не добьется.

Тем временем бен-Шамаль с усилием поднялся и, пробормотав: “П-прошу прощения, уважаемые, п-пора мне”, нога за ногу направился к выходу.

-- Пожалуй, и нам пора,-- решил Абу-т-Тайиб, вставая.-- А ты, Гургин, не горюй -- подумаешь, погиб ты при штурме! Я вон уже по третьему разу хожу: сперва в пустыне, потом в Кабире, от

старости, если верить бен-Шамалю -- и ничего, живой! Выше голову, старик!
Гургин смотрел в пол.

* * *

Бен-Шамаль, оказывается, не успел далеко уйти. Лик его, впрочем, особо не изменился, так что трудно было сказать: являлся он Истинным или нет?

Историк, покачиваясь, стоял перед пожилым священником Людей Евангелия, обладателем грубой рясы с капюшоном.

Сбоку топтался молоденький монашек-служка.

-- Исповедуйте меня, фра Лоренцо! -- орал на всю улицу бен-Шамаль.-- Ибо грешен и жажду покаяться!

Священник колебался; и не без оснований, если принять во внимание облик грешника.

-- Брат Бартоломео! -- обратился он к служке.-- Может, вы... во имя милосердия?..

Монашек отпрыгнул к глинобитному дувалу и вжался в него всем телом.

-- Брат... Барт... Бартоломео! -- вопль историка и вовсе опрокинул монашка в беспамятство.-- Нельзя отказывать человеку в исповеди! Все люди -- братья, понял?!

-- Хорошо, сын мой,-- со вздохом согласился наконец фра Лоренцо.-- Мы с братом Бартоломео направляемся в горы, дабы нести свет Господа заблудшим душам, так что в миссию возвращаться не имеет смысла. Но, прошу тебя, сын мой,-- уединимся...

-- Н-не могу, святой отец! -- покаянно сообщил бен-Шамаль.-- Н-ноги не держат.

И рухнул на колени пред священником прямо в дорожную пыль.

Наблюдать дальше за этой сценой поэт с магом не стали, а тихо свернули в переулок, где и остановились.

-- Он не врал,-- еле слышно произнес Абу-т-Тайиб.-- Иначе я бы почувствовал. Гургин, мне надо туда. В Кабир. Я должен увидеть все это собственными глазами... Я должен, понимаешь?

-- Понимаю,-- серьезно кивнул Гургин.

-- Да ничего ты не понимаешь, старик! Ничего! Этот баран опять загнал меня в ловушку! Я взял Кабир, понимаешь, взял! -- но я не брал его сам! Мне его снова подсунули милостыней, подачкой! -- а потом бросили в смерть, лишив возможности сопротивляться! Даже дохлый, Златой Овен смеется надо мной!

Гнусавое блеянье донеслось из-за угла. Бледный, как известь, поэт вскинул руки, защищаясь от своры призраков; и жалобно вскрикнул, когда в переулочек вбежал баран. Следом за животным с воплями выскочили два подростка, ухватили барана за космы -- и поволокли обратно, награждая тумачами.

Смех, похожий на рыдания, вырвался из груди Абу-т-Тайиба.

-- Я понимаю,-- повторил маг, отступая на шаг.-- Я все понимаю. Прости меня, но я останусь здесь, в Медном городе... мне страшно. Я не пойду с тобой. Но я провожу тебя до перевала Баррах и открою для тебя Ал-Рабат в Кабир. А потом вернусь сюда, доживать отпущенный мне век.

-- Ты сильно сдал за последнее время, Гургин,-- поэт взглянул старику прямо в глаза.-- Отдыхай. Не стоит меня провожать. А Ал-Рабат я теперь могу открыть сам. Любой. Для этого мне даже не придется тащиться к перевалу. Ты веришь мне?

-- Верю.

-- Ну что ж, тогда прощай, старик. Скорее всего, мы больше не увидимся, хотя... кто знает? Вот, возьми на память,-- и Абу-т-Тайиб принялся стаскивать с пальца шахский перстень.

Глаз, вырезанный на красном камне, подмигивал обоим людям.

-- Нет, не надо!!-- запротестовал было старик, но отставной шах едва ли не насильно втиснул подарок в сухую ладонь хирбеда.

-- Прощай. И не держи на меня зла. Хотя есть, за что... есть. Надеюсь, ты не пропадешь здесь, в Медном городе?

-- Я-то не пропаду! -- ворчливо буркнул Гургин, но поэт уже шел прочь, забросив за спину полупустой хурджин. Сворачивая на главную улицу, Абу-т-Тайиб не выдержал, оглянулся -- и увидел, что маг стоит на прежнем месте.

Вслед смотрит.

Поэт отшагнул, прячась за углом дувала -- и еще успел заметить в конце улицы удаляющуюся фигуру бен-Шамалья. Историка бережно поддерживал огромный волосатый детина, весьма смахивавший на обитателей Мазандерана.

Миг -- и обоих след простыл.

Пора было уходить и ему.

Поэт зажмурился, потом медленно закружился на месте, вспоминая дневные ощущения... почувствовать, увидеть, нащупать, в какой стороне лежит дорога... дорога...

Напротив стоял дервиш-плясун и следил за исчезновением человека.
Без удивления.

Глава тринадцатая,
весьма несчастливая, как и положено тринадцатой главе,
написанной в пятницу, к тому же тринадцатого числа;
некий человек здесь раз за разом убеждается
в бесплодности своих поисков, кричит в пустоту --
но так и остается загадкой: добавляют ли крики мудрости?

Суровая строгость мавзолея подавляла и вызывала невольное благоговение. Казалось, сам Огонь Небесный стеснялся светить здесь в полную силу, дабы не нарушать торжественную гармонию вечного покоя. Багровый купол венчал полированные стены серого, в тонких золотистых прожилках, мрамора, и стражами застыли вокруг недвижимые свечи кипарисов, чья темная зелень и неправдоподобно четкие, резко очерченные тени внушали людям суеверный трепет.

Ничего лишнего, никаких украшений, барельефов, орнаментов -- только над входом чеканная золотая вязь:

“Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби”.

Ни титулов, ни перечисления заслуг, ни эпитафии, ни даже дат жизни.

“Ни стихов,” -- подумалось вдруг остановившемуся у гробницы человеку.

Двое хмурых гургасаров, облаченные в золото и сталь парадных доспехов, с кривыми шамшерами наголо застыли у входа. На человека они не глядели; верней, глядели сквозь него, как умеют лишь правители и часовые. Снаружи, за ровным четырехугольником кипарисов, позволено находиться всем. Каждый имеет право бросить шапку почтения к ногам покойного эмира -- таков закон. А внутрь прохожий соваться не собирался; и это тоже был закон, неписанный, но от того не менее властный. Еще не хватало, чтобы всякие бродяги тревожили покой великого аль-Мутанабби!

“А ведь действительно хорошо сделали,-- думал человек, глядя на суровую гробницу.- Никакой помпезности, показной пышности -- на что они усопшему? Строго и величественно. Хорошо. Вот только... хотя бы одно стихотворение могли все-таки высечь! Хоть один бейт... одну строчку! Впрочем... ладно. Может быть, тот, другой, так завещал. Или не завещал. Теперь это уже все равно. Ничего ведь не изменишь? -- да, странник? Странник... страна... странно. Очень странно. Там, внутри, в пыли и тишине -- я? Да, наверное. И под барханом в пустыне -- тоже я? И здесь стою

-- я? Какой из нас -- настоящий? Я-здесь полагаю, что я; а что полагают я-там и я-очень-далеко? Ведь мертвых не существует..."

Человек постоял еще немного. И медленно двинулся прочь, по аллее, сплошь обсаженной благоуханными кустами жасмина; туда, где в небо возносилась высокая стела из гранита.

Вот где барельефов хватало с избытком! Стелла так и называлась: "Взятие Кабира". И хотя Аллах запретил сынам Адама создавать изображения людей и животных -- дабы не возгордились, уподобляя себя Творцу! -- все же человек невольно залюбовался открывшейся ему картиной.

Да, скульпторы и каменотесы поработали на славу! На вечную славу Абу-т-Тайиба Абу-Салима аль-Мутанабби и его потомков. Рушились белокаменные стены города под ударами осадных машин, падали сраженные защитники Кабира (неправдоподобно маленькие в сравнении с атакующими), каменные языки пламени жадно лизали каменное небо -- и вел в бой свои орды непобедимый воин Абу-т-Тайиб, гордо воздев над головой каменный ятаган. Все это было монументально, и величественно, и... лживо. Потому что всего этого не было.

Никогда.

Человек знал, что "Я-здесь" не брал белостенный Кабир.

Ему подносили город с поклоном.

Дважды.

Зато все остальные знали иное. Они знали, помнили -- и ни у кого ни разу не возникло и тени сомнения в истинности событий прошлого!

И это тоже была правда. Их правда.

Воистину: "Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным!" Прав был историк...

Впрочем, отчаиваться, равно как и впадать в уныние, не стоило. Он еще побродит по эмирату, поищет. Он должен найти. Должен! Иначе просто и быть не может!

“Найти -- что?” -- сам себя спросил человек.

Ответ свернул за поворот аллеи и удрал, громко топоча.

Пора было идти. Дальше.

Вот только ноги отказывались подчиняться. Все время сворачивали обратно, к мавзолею.

Человеку временами казалось: его место -- там, в саркофаге, в подземельи, скрытом под мраморными стенами; он уже давно там, спит без сновидений, а по земле бродит лишь его неприкаянный призрак, навеки опутанный миражами чужой памяти...

Человек напомнил себе, что он жив.

И невесело рассмеялся.

2

Надрывались медные трубы, в которые исступленно дули гордецы-карнайчи, павлинами вышагивая впереди. Торжественно рокотали барабаны, и нога в ногу ступали вороньи жеребцы под “волчьими детьми” в ярко начищенных латах.

-- Слава светлейшему эмиру Салиму фарр-ла-Кабир! -- надрывалась в ответ толпа, силясь перекричать трубы, барабаны и друг друга.

Человек не кричал. Он предусмотрительно явился на шествие заранее; теперь же тихо стоял во втором ряду. Смотрел. И лишь иногда недовольно морщился, когда одноглазый сосед слишком громко вскрикивал у него над ухом.

Но вот прошли мимо краснолицые карнайчи с раздутыми щеками, печатающие шаг барабанщики, простучали по мостовой копыта гургасарских коней, проехал знаменосец, важно неся стяг с изображением оскаленного волка, изготовившегося к прыжку -- и человек наконец увидел.

Светлейший эмир восседал на белоснежном иноходце. Да и сам владыка был облачен в белые,

шитые золотом одежды -- символ мира, а также благоденствия. На голове эмира сиял белым золотом и алмазами венец повелителя Кабира -- но это был совсем другой венец, а не хорошо памятный человеку шахский кулах, который некогда украшал его собственную голову.

Нимба, сияния ореола вокруг эмирского чела, не наблюдалось.

Человек вздохнул с облегчением и внимательно взгляделся в лицо эмира Салима.

Лицо как лицо. В меру смуглое, с правильными, чуть крупноватыми чертами. На губах -- вежливая улыбка приветствия. Таким, наверное, и должен быть эмир Кабира, осчастливив шествием своих восторженных подданных. Точно так же вели себя правители других городов и стран на парадных выездах -- человеку не раз доводилось наблюдать подобные зрелища.

Похож ли теперешний эмир на него самого? В чем-то похож. А в чем-то -- нет. Мог ли он быть его сыном? Вполне. А мог и не быть. И выяснить это сейчас уже нет никакой возможности. Да и стоит ли выяснять? Наверное, нет...

Эмир проезжал мимо, когда взгляд человека зацепился за висящий на поясе правителя ятаган. Хотя дорогие, обитые бордовым бархатом и украшенные драгоценностями ножны скрывали от досужих взглядов славный клинок, человек узнал ятаган, как узнают давно не виденного друга.

Рукоять.

Знакомая рукоять с ребристыми накладками из кости!

На мгновение человеку показалось, что от ножен исходит некое прозрачное сияние -- но это, наверное, просто солнце сверкнуло на обилии самоцветов. Человек протер слезящиеся глаза -- соринка попала, что ли? Нет, ничего. Ятаган -- тот самый. Ну и что? Так, наверное, и должно быть...

Добрый наследник у великого аль-Мутанабби вырос, добрый, дурного слова не оброню -- а все не чета папаше! Вот кто был герой, я тебе скажу...

-- Ты знал его? Видел?

Седобородый ветеран, чье лицо украшено косым шрамом от виска до подбородка, криво ухмыляется.

Трещины морщин на его дубленой коже становятся еще глубже.

-- Я? Видел?! Как тебя сейчас... Слушай, странник, чем здесь мостовую протирать -- пошли-ка лучше в чайхану! Поднесешь винца, а я тебе доподлинно расскажу, как мы с Абу-т-Тайибом Мэйлань брали!

И ветеран панибратски хлопает человека по плечу.

-- Пошли. Давно мечтал послушать рассказы очевидцев. А угощение -- за мной, не сомневайся,-- ветерана несколько озадачило легкое согласие странника, однако это не помешало обоим нырнуть в завешенный циновкой проем двери ближайшей чайханы.

На удивление, у странника, по виду более всего смахивавшего на бродягу, оказались деньжата, причем деньжата немалые, а словоохотливого ветерана вполне устроило вино, которое здесь подавали. Вояка издавна привык к тому сорту, что носит название “дешевого крепкого”. Ведь что славно: пить противно, во рту будто ишак опростался, вот и глотаешь залпом, побыстрее -- а там и хмель объявляется сам собой.

Красота!

Сам бродяга, как ни странно, вина пить не стал, спросив себе щербету и сдобных крендельков.

-- ...значит, до самого Мэйланя пылили без интересу. Хаффа подкрепление дала, провианту, так что про дорогу я тебе рассказывать не буду. Нечего там рассказывать!

Дубленый старик со шрамом резво выхлебал очередную чашку вина и мигом наполнил ее

снова.

-- Ну а когда к Мэйланю подперли -- вот тут-то ихние голубки навстречу и вывалили! При полном параде: флаги, ленты, крылья из дранки -- и мяукают по-своему! Прямо как коты весной! Любо-дорого косоглазых рубить было: пока они, значит, строй развернули, как на учениях -- наша конница уже во весь опор! И сам эмир впереди, на белом коне! Ну, задал он им жару, а тут и мы подоспели -- я-то в пехоте служил...

-- А сам-то он каков был, эмир? -- прервал рассказ бродяга.

-- Каков-каков,-- с раздражением буркнул ветеран, досадуя на недотепу-собеседника, перебившего его на самом интересном месте.-- Во-о-от таков! (Старый вояка изобразил руками нечто громадное и могучее.) Герой, в общем! Как махнет ятаганищем -- враги дюжинами с ног валятся! Ну, и мы, ясное дело, не плошали. Я, вот, схватился с одним из этих: юлой вертится, сопливец, мечиком тоненьким меня достать норовит -- а я его копьём, копьём...

Ветеран явно увлекся рассказом, живописуя свое боевое прошлое, но бродяга уже не слушал его. Даже не смотрел на собеседника. Взгляд его был прикован к дальнему, затемненному углу чайханы, откуда доносилось журчание струн чанга. Плохо различимый в сумраке чангир наигрывал мелодию без слов, тихую, ленивую, а человек слушал, слушал...

-- ...Вот тут-то я сопливицу жало промеж глаз и всадил! -- донесся до него азартный возглас ветерана, даже не заметившего, что собеседник перестал слушать его повесть.

-- Да, здорово ты его! -- кивнул человек.-- А скажи-ка мне, уважаемый: правду ли говорят, будто эмир аль-Мутанабби был не только великий полководец, но и поэт, каких мало?

-- Каких мало? -- возмутился вояка, уязвленный тем, что кто-то мог усомниться в многочисленных талантах и доблестях его кумира.-- Таких и вовсе-то нет! Как запоет, затянет -- все враги бегут в страхе! Понял, деревенщина?!

-- А тебе самому его песни слышать доводилось?

-- Ясен пень! -- самодовольно подтвердил старик, уже заметно окосевший от выпитого вина.

-- Вспомнить можешь? Ну хоть строчку! Плачу по динару, за каждое слово!

На мгновение лицо ветерана отразило мучительные раздумья.

-- Не, не помню. Эх, как на грех... Ты лучше про Мэйлань послушай, и по динару не надо -- дирхемов пять-десять отвали, я спасибо скажу!

-- В другой раз,-- человек кинул старику два золотых и встал.

Но направился почему-то не к выходу, а в полутемный угол, из которого все плыла, скользя среди дыма и чада, тихая мелодия...

4

-- Не соблаговолит ли уважаемый мастер струн и ладов спеть одну песню по просьбе усталого путника? -- человек присел рядом на скатанную валиком старую циновку.

Чангир откинул назад длинные, до плеч, сальные волосы, закрывавшие его лицо, явив полусвету смуглый горбоносый лик похмельного коршуна.

-- Разумеется, соблаговолит -- за соответствующую плату.

-- О, я заплачу с лихвой!

-- Тогда какую именно песню желает услышать славный путник, несомненный знаток прекрасного?

-- Одну из касыд покойного эмира Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, да славится его имя в веках! Любую, на твой выбор.

Чангир долго смотрел на заказчика, задумчиво перебирая струны чанга.

-- О, песни покойного эмира есть вершина поэтического мастерства! -- наконец затянул он вполголоса.-- Не мне, презренному, за деньги потешающему народ, терзать языком сокровища сих

касыд...

-- Я ценю твою скромность, о шах чангиров,-- человек изо всех сил сдерживал нетерпение.-
- Но память о поэте -- его песни, и ты лишь послужишь вящему величию аль-Мутанабби! Заодно получив весьма щедрую плату!

Человек многозначительно потряс перед носом певца тугим кисетом, откуда донесся сладкий звон.

Глаза чангира вспыхнули хищным блеском; угаснув почти сразу.

-- Прости меня, щедрый странник, но, к моему великому сожалению, я не в силах усладить твой слух стихами покойного эмира. Ибо не знаю их! -- честно признался длинноволосый коршун.

-- Не знаешь? -- изумился человек.-- Но ты хотя бы слышал их? Может быть, всего пару строк...

-- Кажется, слышал,-- неуверенно пробормотал певец,-- но... Да нет же, слышал!

Чанг под его пальцами взвыл собакой под колесами арбы.

-- Еще раз прошу простить меня, о странник! Мне действительно очень жаль, но я не могу удовлетворить твой взыскательный вкус!

-- Да, жаль...-- человек поднялся, громко хрустнув коленями, и, сутулясь, побрел к выходу из чайханы.

* * *

-- ...Какую же песню ты хочешь? -- благообразный чангир преклонных лет говорил степенно, не торопясь, ибо возрасту поспешность приличествует не более, чем глупый спутник -- мудрецу.

Человек уже знал: этот полуслепой певец славится не только своим умением, но также до сих пор чистым, без старческого дребезга, голосом.

О нем говорили, что он знает все песни на свете, кроме ненаписанных!

-- Одну из касыд покойного эмира, великого поэта аль-Мутунабби,-- произнеся последнее, человек едва заметно скривился.

Будто лесного клопа с ягодой разжевал.

-- Покойный эмир был все-таки больше воин, нежели поэт,-- осторожно, тщательно подбирая слова, заговорил старец.-- Свои песни он чаще пел в походах -- и, похоже, среди воинов не нашлось грамотного или просто памятливого... Боюсь, я не смогу порадовать твою душу, о странник!..

* * *

Человек метался по городу загнанным в ловушку чаушем. О нем уже были наслышаны все чангиры Кабира-белостенного, и теперь в большинстве своем старались не попадаться упрямцу на глаза. Кому охота признаваться, что ты не знаешь ни одной песни великого поэта? Ясное дело, никому!

Дважды его пытались обмануть, выдав за стихи покойного эмира какое-нибудь другое сочинение. Но после первых же строк человек гневно прерывал обманщика, и тот смущенно умолкал, даже не заикаясь о деньгах -- как бы по шее не схлопотать!

Глаза-то, глаза -- огонь, не глаза!..

И лишь подле одного чангира задержался назойливый искатель -- подле молодого парня, чьи черные кудри вились буйной порослью, словно никогда и не слыхали о существовании такой вещи, как гребень.

Человек долго стоял, слушая разбитные песни, что так и рвались со струн чуть дребезжащего чанга и из неутомимой глотки парня.

-- Касыд аль-Мутанабби не знаю,-- кратко бросил молодой чангир в перерыве между двумя

песнями, не удостоив взглядом человека; и продолжил веселить народ.

А человек все стоял, стоял рядом...

Он помнил этого парня. Когда-то он походя, не глядя, ткнул его ятаганом, мгновенно отправив чернявого в Восьмой ад Хракуташа, или куда-то еще, куда отправляются души местных воров и певцов. Чудеса! -- вот сейчас парень сидит перед ним, жив-здоров, весело скалится из-под завесы смоляных кудрей. Песни поет. В конце концов, он и сам умирал дважды -- чем он лучше чернявого чангира?!

Тем, что убийца помнит убитого, а убитый убийцу -- нет?

А чанг, похоже, прежний: звучит знакомо, надтреснуто.

Сумерки потихоньку окутывали город чадрой близкого сна, зеваки разошлись, звякнули последние монеты, упав в папаху, лежащую у ног чангира -- и парень наконец умолк.

-- А ты что скаредничаешь? -- ухмыльнулся чернявый прямо в лицо человеку.-- Полдня слушал, жадина! Аль денег нет?

-- Есть,-- спокойно ответил человек, но лишь один Аллах ведал, какой ценой далось ему это спокойствие.-- Продай мне свой чанг.

-- Что-о-о?! -- глаза чернявого вылезли из орбит.-- Может, тебе еще и эмирский дворец по дешевке уступить? На кой он тебе, мой чанг?

-- Нужен,-- лаконично ответил человек.-- Я дам хорошую цену, чангир.

-- Ну так сходи на базар и купи,-- сбавил тон парень.-- А я к своему привык, даром что не новый...

-- Вижу. Продай, я тебя очень прошу...

-- Вот ведь привязался, как репей к ишаку! -- растерялся чернявый.-- Вот ведь... Десять динаров! -- ляпнул он наобум, и, похоже, сам испугался заломленной цены. За такие деньги можно было купить три новых чанга, и еще осталось бы на добрую пирушку с друзьями!

Странный покупатель, не торгуясь, развязал тугой кисет -- и десяток новеньких золотых перекочевал в папаху обалдевшего чангира.

-- Спасибо,-- вежливо поклонился незнакомец, осторожно, словно хрупкую фарфоровую вазу, беря старый чанг и чехол, протянутый ему чернявым.-- Да будет к тебе новая судьба благосклонней старой, певец!

Молодой чангир еще долго смотрел вслед человеку, зажав в кулаке неожиданное богатство, и смутная, забытая тень ворочалась в душе парня.

Отчего-то болело под сердцем, словно туда сунули холодным лезвием.

5

Он держал в руках старый чанг и понимал: это не просто потертый инструмент. Это кусок памяти. Часть сгнувшего бытия, о котором помнил только он, поэт и бродяга, бывший шах Кабира.

Он так и заснул, сжимая в руках чанг; словно держал за руку старого друга, с которым наконец-то посчастливилось встретиться.

В эту ночь его снова мучали кошмары. Своды мраморной гробницы смыкались над ним, и старательные каменщики уже закладывали дверь, плеча раствором; лишь маленькое окошко покуда оставалось свободным. Сквозь него человек видел, как в небе вместо солнца скалится в злорадной ухмылке бараний череп.

А потом из-за горизонта обрушился самум, и сквозь оставшуюся щель устремилась лавина песка, погребая человека под собой...

Он проснулся от собственного крика. И долго еще сидел в предутренней мгле, не разжигая

огня, медленно приходя в себя. Ночные призраки таяли, в окошко сочился серый свет, а чанг лежал у изголовья, пряча в себе отзвуки неспетых песен.

Иблис, чье имя значит “отчаяние”, сидел напротив.

Златой Овен издох, смеясь: если подобает возвращаться поэту и бродяге, почему бы не вернуться барану из садов Ирема? Воистину, человек всегда остается в убытке!.. Жизнь снова прожили за него, всучив ему все тот же Кабир, который он взял, взял сам, штурмом взял -- никогда не делая этого! Никогда аль-Мутанабби не брал приступом белостенный город, не шел войной на Мэйлань и Харзу, не женился на красавице Нахид, не радовался рождению сына Салима -- и не умирал от старости, окруженный лекарями, семьей и верными подданными!

Никогда!

Он, Абу-т-Тайиб, знал это. А все остальные знали другое. И знание это было столь же непоколебимым, как и горы без названия, за которыми прочно закрепилось теперь имя Сафед-Кух -- Белые горы; как строгие мраморные стены гробницы первого эмира Кабира, великого полководца и завоевателя, величайшего поэта -- от кого не осталось ни единой строчки.

Ни единой! -- человек с размаху ударил кулаком о край ложа и не почувствовал боли.

Те редкие обломки памяти, один из которых лежал сейчас перед ним в виде потертого чанга, являлись памятью лишь для него.

Великий эмир Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби умер. Никому нет дела до бродяги, неприкаянно шляющегося по эмирату, никому нет дела до шуток его неправильной памяти!

Ему снова силой всучили милостыню, предусмотрительно умертвив во второй раз, оградив тридцатилетним частоколом, чтобы связать упряму руку, чтобы не дать ничего изменить, хоть трижды пройди путь отсюда до Мазандерана!

Ни-че-го!

Эхо этого слова отдалось глухим стуком очередного камня, положенного в неумолимые стены

гробницы. Он там, внутри. Он мертв. Пора успокоиться.

-- Врете! -- человеку казалось, что он кричит, но на самом деле с обветренных губ срывался лишь едва различимый шепот.-- Я не хотел такой славы! Я не брал Кабир! Я не был эмиром! О, если бы все это случилось на самом деле! -- если бы я действительно вел армады на штурм, рубился с мальчишкой Суришаром, если бы... ведь я мог... Оставьте себе вашу славу, вашу жизнь, которую вы все сделали моей! Ну хоть кто-то, хоть один человек, вспомните меня! Один-единственный бейт моих стихов -- и я покорно соглашусь с остальным! Где вы, те, кто умер, и те, кто выжил тогда, в настоящей жизни? Где вы?! Чернявый чангир -- не в счет. Я рад, что ЗДЕСЬ он остался жив; но -- не в счет! Дэв, Нахид, Фарангис -- я найду вас! Вы обязаны узнать меня, вы просто не можете иначе...

Утро вставало из-за Белых гор Сафед-кух.

Один из длинной вереницы рассветов.

Глава четырнадцатая,
открытая ветрам жизни и смерти, памяти и забвению,
полная плачем и песнями, и трепетом траурных полотнищ,
но если подойти к ней с точки зрения здравого смысла,
то останется лишь пожать плечами в недоумении.

1

Его вело то же чувство, которое позволяло ему отныне безошибочно открывать призрачные Ал-Ребаты, находить дорогу в незнакомых местах, за десятки и сотни фарсангов определять, в какой стороне находится нужный ему город -- и, как выяснилось теперь, нужный ему человек. Кто подарил

ему это умение: издыхающий баран в пещере Испытания? гостеприимный обитатель заброшенного храма? книга с чистыми страницами на алтаре?

Человек не знал этого; да и не очень-то стремился узнать. Куда идти -- известно, за что спасибо небесам; а если ты, умирая от голода, нашел лепешку, то негоже сетовать на отсутствие халвы.

Ешь и помалкивай.

Впрочем, на сей раз далеко ходить не пришлось. Его влекло к южным предместьям -- и он, подчиняясь зову, отправился мерять мощные улицы и грязные переулки, эти кишки большого города, выводящие... нет, совсем не туда, куда вы подумали, уважаемые!

Вот они, крепостные башни; вот заново отстроенные стены; вот и ворота... и дальше, пыля широким трактом, а потом -- виляя собачьим хвостом тропы, к селению углежогов, чьи крытые камышом крыши домов прятались под сенью вековых чинар.

Вместо дувалов здесь были плетни, высотой до подбородка взрослому мужчине. Все жители селения наперечет, чужие заглядывают редко -- от кого хорониться?!

Он увидел ее во дворе третьего с краю дома -- и сердце ударило сумасшедшим бубном. Было почти невозможно отвести глаза, но он сделал это. Перевел дыхание. Облизал губы, почувствовав под языком сухие трещины. И снова: осторожно, почти благоговейно тронул взглядом знакомую фигурку в платье из дешевого карбоса. Выцветшие ленты вплетены в смоль кос, свисающих ниже пояса -- все как там, в Мазандеране. И знакомое золото шерстки на обнаженных девичьих руках... Нет, не шерстка, конечно! -- он усмехнулся, понимая, что эта усмешка не для зрителей. Просто ее кожа теперь была золотистого цвета, и пушок, нежный персиковый пушок...

Почувствовав на себе чужой взгляд, девушка порывисто обернулась, -- и в лицо ему плеснул знакомый голубой огонь. Е рабб, и родинка на скуле, капля драгоценной сурьмы! Здешняя Фарангис

была года на два-три старше той, памятной мазандеранки -- но это несомненно была она!

-- Фарангис...-- в горле стоял комок, и слова разбивались о него, выходя горьким шепотом.

-- Да, меня зовут Фарангис,-- брови девушки двумя голубками взлетают на лоб; совсем как тогда, при первой их встрече.-- Откуда ты знаешь меня, странник? Я тебя впервые вижу!

И сердце снова на миг отказывает.

Захлебывается, мчит шалым скакуном по лугам проклятого Ирема.

-- Вспомни! -- отчаяние и надежда звенят в надтреснутом голосе человека.-- Мазандеран...
ложе в пещере, которую звали дворцом... я читал тебе стихи...

-- Стихи?! -- утренняя заря вспыхивает на щеках девушки.-- Ложе?! Какая сводня подсказала тебе мое имя, бесстыдник?! И ты решил, что я... Салех! А ну-ка, иди сюда! Ишь, увальень! -- к его жене пристают, а он и ухом не ведет!

Из дома грузно вывалился полуголый детина, скребя обеими руками черную поросль на груди.

-- Кто, дорогая? Вот этот? -- недобрый взгляд маленьких, кабаньих глазок детины уперся в бродягу, стоящего у плетня.

-- Ну, не совсем пристаёт,-- смутилась Фарангис.-- Станный он какой-то...

-- Станный? Ну и странствовал бы где-нибудь в другом месте! -- детина хохотнул над собственной шуткой.-- А я ему помогу, чтоб не заблудился!

Одним прыжком Салех с разбега перемахнул через ограду.

В следующее мгновение человек получил изрядный пинок в бок, едва не упав.

-- Вали отсюда, понял? И если я еще раз увижу тебя возле моей жены...

Детина взмахнул увесистым кулаком, с удовлетворением отъявленного драчуна приметив огоньки во взгляде бродяги. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы в этот момент не откинулась циновка на окне дома, и властный голос не приказал:

-- Угомонись, Салех! Пусть идет себе.

В окне обозначился косматый старец. Борода и длинные, до плеч, волосы старца были белы, как снег -- однако голос устоял против возраста: сразу слышать, кто в доме хозяин!

Муж Фарангис с неохотой опустил кулак.

-- Иди уж, похабник,-- угрюмо бросил он бродяге.-- Счастлив твой бог: когда б не дедушка Олмун...

И Салеху вдвойне захотелось отвести душу на бродяге: ишь, урод, выпятился на Олмун-деда, ровно на шлюху портовую!

А человек, забыв про обиду и обидчика, смотрел -- и ничего не мог прочесть в раскосом прищуре бывшего Олмун-дэва. Погибшего во время резни в Мазандеране, чтобы жить здесь, в мирных предместьях Кабира, вместе с внучкой, благополучно выскочившей замуж за углежога Салеха.

Вспомни!

Ну вспомни, Олмун-дэв!.. не хочешь? не можешь?

Человек повернулся и молча побрел восвояси.

Он не видел, как Фарангис провожает его долгим взглядом, и уж тем более не слышал, как она шепчет деду, боязливо косясь на Салеха:

-- Он говорил, что читал мне стихи... Когда-то. В чудном месте, которое называется Мазандеран. И знаешь, дедушка... помнишь, я рассказывала тебе о моих снах? Ну тогда, еще до замужества... и после...

-- Сны -- это всего лишь сны, Фарангис,-- отвечает старый Олмун.-- Правда, иногда они бывают вещими... Скажи мужу, пусть лучше любит тебя -- х-ха, мои женщины спали без сновидений!

Но в глазах старика, противореча веселью слов, на мгновение вспыхивает нездешняя синь горного неба.

Неба над каменной чашей.

...Нет, всего этого человек не видел.
Он шел прочь.

2

Он понимал тщету своих поисков; понимал, отказываясь принимать. Строители гробницы поработали на совесть, не оставив лазеек. И все же... он просто не умел по-другому, вслепую тычась в стены, ища несуществующий выход, загоня панику в самый дальний угол рассудка, изнемогшего в борьбе с самим собой.

А значит -- еще оставалась надежда.

* * *

Он нимало не удивился, когда в какой-то чайхане услышал: завтра в столицу с докладом приедет Худайбег аль-Ширвани, соратник покойного аль-Мутанабби, а сейчас -- наместник эмира в Харзе. Человек уже неделю ждал приезда того, кто раньше был известен ему под кличкой Дэв. Он знал: Худайбег приедет. Не нужно открывать Ал-Ребаты или добираться с попутным караваном в Харзу. Дэв едет к нему сам.

И при этой мысли по коже странника пробежал озноб. Он боялся не слепоты во взгляде бывшего друга. Что, если кто-то снова начал исподволь подсовывать ему желаемое? Не труди ноги, бывший шах! Тот, встречи с кем ты ищешь, сам спешит к тебе -- о радость!

Ты получишь желаемое!

Совпадение? -- с некоторых пор человек весьма подозрительно относился к подобным совпадениям.

Въезд наместника Харзы в столицу был обставлен, как и следовало ожидать, куда скромнее парадного выезда эмира. Зато сам наместник гордо ехал впереди свиты, состоявшей из двух десятков “Вороноголовых” на пегих иноходцах.

Сам Дэв красовался на гнедом жеребце-гиганте, чьим отцом был скорее слон, нежели конь. Левая рука наместника играла посеребренной уздечкой, в правой он сжимал до боли знакомую “Сестру Тарана”, ставшую, похоже, символом его правления. Дэв заметно постарел, буйную гриву обильно припорошила седина -- однако весь его облик по-прежнему дышал перевозданной мощью сказочного богатыря. Но это была вполне человеческая мощь, и даже лоб, изрядно нависая над пронзительной голубизной взора, принадлежал сыну Адама, а не обитателю Мазандерана.

Фарр-ла-Кабир умер -- и вместе с ним умерло проклятие, тяготевшее над “небоглазыми”.

Худайбега аль-Ширвани встречали. Его приветствовали. Как-никак, живая легенда, соратник самого аль-Мутанабби, наместник двух эмиров подряд! Однако толпа зевак, выстроившихся вдоль улицы, была достаточно редкой, чтобы человек смог без труда пробраться в первый ряд.

Наместник Харзы не глазел по сторонам. Он был преисполнен важностью своей миссии и погружен в размышления о предстоящем докладе эмиру; праздная толпа его не интересовала.

Человек понял: Дэв сейчас попросту минует его, даже не заметив -- тем дело и кончится. Поэтому, не раздумывая, сделал единственное, что мог сделать, обратив на себя внимание наместника: вышел на середину улицы и встал, загораживая путь процессии.

Глядя прямо в голубые глаза седого “пятнадцатилетнего курбаши”.

Это было глупо. Это было настолько глупо, что наместник наконец очнулся от государственных дум.

И наглому бродяге достался удивленный взгляд.

Человек молчал. Он уже знал: взывать к памяти, к прошлому, в котором они сражались бок-о-

бок, бессмысленно. Худайбег либо вспомнит сам, либо...

Придержав коня, наместник смотрел на наглеца: сперва недоуменно, потом все более пристально. Тень сгущалась в глубине голубых колодцев, смутно ворочалась в душе бывшего Дэва -- еще, еще немного, еще несколько мгновений, и...

-- Вон пошел, бродяга! Мыши плешь проели?! -- у наместника на дороге стоять?!

Удар камчи обжигает спину, гнет к земле крылом урагана -- а с боков уже наезжают, теснят лошадьми всадники свиты. В толпе рождается смех: поделом дураку! Человека отшвыривают прочь, вдогонку на прощанье огрев копейным древком.

Путь свободен!

Наместник может ехать дальше.

-- А ведь похож...-- бормочет себе под нос Худайбег аль-Ширвани, и медленно гаснут на лице наместника голубые угли.-- Нет, действительно похож...

Соратник покойного аль-Мутанабби трогает повод. Он едет дальше, ко дворцу, выбросив из головы нелепое происшествие... выбросив... е рабб, да выбросив же, чтоб тебя!

Сердце колотится взбалмошным зверьком, и еще: почему-то хочется умереть за кого-то.

Умереть.

Хочется.

Мертвых не существует -- щекочет сознание наместника Харзы странная мысль.

3

На западную окраину города он попал случайно.

И у высокого дувала остановился случайно -- внимание привлекли траурные полотнища

синего и лилового атласа, наискось переброшенные через верх.

Странно: хора плакальщиц и воплей родственников, предающихся скорби, слышно не было.

-- Кто умер? -- без особого интереса спросил Абу-т-Тайиб у древней старушки, что сидела у ворот на оструганном чурбачке.

Его мало интересовало, кто умер.

Мертвых не существует.

Совсем.

-- Кобланчик помер, странничек...-- ласково прошамкали старушечьи губы.-- Внучок мой... только он не помер ишшо, помирает себе, помирает, который день как помирает, странничек...

Слово "помирает" старушка произносила вкусно, со значением. Так говорит влюбленный о предмете своей страсти, или пьяница -- о вине.

-- Кузнец? Кузнец Коблан?!

Что-то исподволь шевельнулось в душе поэта, тайная, давняя струнка зазвенела тихим звоном: воробышек-кузнец, могучие подмастерья-мариды... доспех...

-- А ты, небось, знавал его, странничек? Внучка моего?

-- Знал, бабушка.

-- Так зашел бы, проводил... не сегодня-завтра отмучается, внучок-то! Тебе б там лепешечек сунули, мясца кус... Ворота вторую недельку без запора, входи, кому душа велит!

И, в сопровождении ковыляющей старухи, поэт пешком вошел во двор -- куда некогда въезжал на лихом коне, шахом Кабира, с эскортом гургасаров.

Было?

Не было?

Сперва он по старой памяти направился в кузню, но предупредительное шамканье за спиной остановило поэта. И впрямь: не у горна ведь лежать умирающему? Хотя такой упрямец, как

воробышек с глоткой матерого льва... Этот и при смерти на своем настаит. А в дом отчего-то идти не хотелось. Абу-т-Тайиб взошел было на айван, затоптался на веранде меж колоннами из ошкуренного тополя, думая повернуть обратно -- но навстречу уже грузно шагал мохнорукий исполин, на голову выше поэта и вдвое шире в плечах.

-- Правнучек это, Кобланчик-младшенький,-- бормотнули из-за спины.-- Ты его не боись, странничек, он только с виду страшный, а так мухи не обидит, правнучек-то мой...

Словно задавшись целью опровергнуть высказывание прабабки, исполин походя пришлепнул муху на перилах.

Но пришлепнул с одного удара, не обижая -- это старуха верно заметила.

-- Ты, значит...-- утробный бас Кобланчика-младшенького был подстать рыку Кобланчика-старшенького, но гораздо больше подходил к его могучей стати.-- Ты, значит, странник... ты заходи, значит. Помолись за родителя моего. Скажешь потом -- накормят. Значит, так и разумеи, что накормят...

И веранда сотряслась, когда он затопал дальше -- в сотый раз распорядиться насчет лекарей.

Безнадежно, значит, да совесть велит.

Абу-т-Тайиб вошел в дом. Там было многолюдно, шепоток сквозняком гулял от стены к стене, бродил коридорами, перемежаясь редкими всхлипами; женщины украдкой прятали лица в передники, мужчины сдержанно говорили о пустяках. Пахло едой, снадобьями, человеческим потом; и еще -- смертью.

Поэт не стал говорить этим людям, что мертвых не существует.

Он протолкался к запертой двери в соседнюю комнату, плохо понимая, зачем он это делает. Почти сразу дверь открылась, больно ударив в грудь краем створки, и оттуда бочком выбрался сухонький лекарь-хабиб с личиком престарелого младенца. Он уставился на поэта и развел ручками: дескать, все в воле Творца! Будем надеяться... надеяться... будем. Поэт кивнул; потом глянул через

плечо хабиба. В глубине комнаты, на смятом ложе, лежала мумия: крошечная, сморщенная, туго обтянутая пергаментной кожей. На лице-черепе мумии лихорадочно горели впадины глаз: жаркое пламя души истово рвалось на волю из вонючего склепа.

Этот огонь опалил сознание Абу-т-Тайиба, как если бы поэт живьем сунулся в пылающий горн, сунулся в тщетной надежде быть перекованным из человека в меч.

Мумия на ложе захрапела умученной лошадью, задергалась, и рядом всполошились сиделки. Одна из них -- видать, главная -- склонилась к мумии, оттопырила себе ухо ладонью, вслушалась в еле слышный хрип былого горлопана...

-- Давайте странника-то! -- крикнула она минутой позже.-- Сюда давайте! Дядь Коблан просит!

Абу-т-Тайиба сильно толкнули в спину, и ноги сами сделали два-три шага, переступив низкий порожек.

Подойдя к ложу, поэт остановился, глядя на умирающего и теряясь в догадках: что делать? о чем говорить? молиться?!

-- Ты пригнись, странничек,-- шепнула сиделка.-- Пригнись к дядь Коблану! Он говорить хочет... да язык костяной. Авось, услышишь...

Абу-т-Тайиб послушно нагнулся.

Сперва он услышал только страшное сопенье. Воздух клокотал в глотке мумии, клокотал слабо, усталым варом, выходя вместо слов пузырями.

-- Д-до...-- лопнул один пузырь, обдав поэта жаркими брызгами.-- Д-доспех... помнишь?..

-- Помню,-- больше всего Абу-т-Тайибу хотелось бежать отсюда. Ноги, ноги хадрамаутского верблюда, бегуна из бегунов -- где вы?! Сейчас, когда в намертво замурованной гробнице, куда заточил его издыхающий Златой Овен, обозначился крохотный просвет, мышинная нора, щелочка наружу,-- поэту стало страшно.

Такузники дуреют от глотка свежего воздуха, кричат, хватают стражников за руки, моля вернуть их в привычный смрад и мрак.

Или это просто предсмертный бред?

-- В-вели... туда... вместе...

-- Про какой это он доспех? -- спрашивая сиделку, Абу-т-Тайиб втайне надеялся, что та выставит странника-нахала прочь. Ишь, человек душу отдает, а этот прилип репьем, с вопросами!

-- Про эмирский доспех,-- оказывается, Коблан-младшенький успел вернуться; и теперь стоял с поэтом бок-о-бок.-- Родитель мой самому аль-Мутанабби латы ковал, значит... было дело. А потом эмир доспех вернул, да со значением: дескать, мир на земле, пусть хранится у того, кто делал! По сей день, значит, в сундуке бережем...

-- В-вели... туда...

-- Тебе, значит, показать хочет? -- спросил Коблан-младшенький у поэта и, не дожидаясь ответа, кивнул сам себе.-- Просьба умирающего -- закон. Эй, кто там -- носилки! Пусть порадуетя, значит, родитель... эх, Коблан-ата!..

* * *

В кузне было прохладно. Молчал горн, скучали без дела меха, дожидаясь подмастерьев, масляно отливали в углу молоты и клещи. Носилки втаскивали осторожно, стараясь не потревожить мумию, бывшего человека -- которого вскоре уже не потревожит ничто из тревог земных.

По приказу исполина из кладовки вынесли сундук, поставив его прямо на холодную наковальню.

-- В-в... в-во двор...

Пришлось с той же осторожностью тащить носилки обратно во двор; следом сын умирающего

вместе с коренастым бородачом несли сундук.

Все, кто был в доме, к этому времени толпились здесь, на открытом пространстве: недоумение во взглядах, губы роняют слова, будто крошки, мигом разбираемые любопытными пичугами, мужчины чешут бороды, женщины шушукаются втихомолку, обсуждая и осуждая суетную похвальбу кузнеца. И было б перед кем?! -- перед бродягой с большой дороги!..

На старушку, пригласившую удивительного странника, глядели с опаской.

Носилки примостили на дощатой тахте в тени чинары, сундук опустили напротив, прямо на землю. Со стороны это напоминало погребальный обряд каких-нибудь диких зинджей: покойника таскают туда-сюда, без видимого смысла и цели, ожидая то ли чуда, то ли вовсе Страшного Суда...

-- О-о... открой...

Коблан-младшенький откинул крышку, распахнув перед людьми чрево сундука.

Внутри лежал доспех; зародышем в материнской утробе. Густо смазанный зигировым маслом шлем со стрелкой, защищающей переносицу; вороненые наручи и оплечья, подбитые двойным бархатом, меж слоями которого для упругости был уложен конский волос; пояс, густо усыпанный стальными бляхами; наколенники, сетчатый полог с разрезами; латная перчатка была одна.

Левая.

Но не это бросило поэта в холодный пот.

Сзади о чем-то шептались незнакомые люди, беззастенчиво орала ворона в ветвях чинары, звон невидимых цикад оглушал, а поэт все смотрел и не мог оторвать взгляда от зеркала панциря, уложенного по центру.

С зеркальной глади металла, нагло врезаясь в его плоть бороздками гравировки, Абу-т-Тайибу в лицо ухмылялся череп со спиральями рогов.

Мертвая баранья голова.

Неужели они не видят? Неужели они по-прежнему слепы, и зрячие здесь лишь двое: он,

неприкаянный рифмоплет, дважды похороненный и дважды воскрешенный не волей Аллаха, но причудой ходячего кебаба -- и еще проклятая скотина, которой он собственноручно свернул шею?

Выходит, зря?!

-- С-со... с-сохранил я... сберег..

Поэт ухватился за еле слышный шепот умирающего, как хватается тонущий за брошенную ему веревку. Вытер лицо рукавом, вздохнул полной грудью. Переждал, пока сердце уgomонится, уймет лихорадочный стук.

И стал рыться в дорожном хурджине.

Все ахнули, когда странник извлек наружу латную перчатку, родную сестру-близнеца той, что безмятежно дремала сейчас в сундуке.

Только сестра была правая.

Абу-т-Тайиб еще немного постоял над сундуком, собираясь с духом; зачем-то надел свою перчатку на руку, снял, скрежетнул ногтем по кольчатой чешуе... Поэт был сейчас похож на фариса-рыцаря Запада, когда те бросают вызов врагу -- и брошенная перчатка полетела прямо в морду Златого Овна.

В ухмылку.

В оскал.

В сундук.

Свой выбор -- в чужой.

Звонко ударившись о поверхность панциря.

Абу-т-Тайиб страшно рассмеялся и стал расчехлять чанг, купленный им у чернявого.

-- Д-да...-- хрипела мумия на носилках.-- Д-да... т-так его...

И ни у кого из присутствующих не повернулся язык сказать, что негоже при умирающем струны драть.

Примерзли языки.

-- Ты почтил меня великой честью, Коблан-мастер,-- мумия замолчала, внимая; лишь полыхали бешеные глаза с пергамента лица.-- Великой честью. Я отплачу тебе единственным, что имею: песней. И думаю, тогда мы будем наконец квиты -- ты и я. А вместе с нами и тот, кто всегда стоял между такими, как мы.

-- Песня, значит,-- буркнул Коблан-младшенький, тщетно пытаясь вникнуть в загадочные речи странника, и обвел людей строгим взглядом -- хотя и так никто не собирался перечить.-- Песня, это ладно... родитель любил... раньше. Хоть и... ну да ладно. А чья песня-то, значит?

-- Моя.

-- А слова, значит? Слова-то чьи?

-- Аль-Мутанабби.

-- А зовется как? Название, значит?

-- Касыда о взятии Кабира.

И чанг плеснул в людские лица буйным хиджазским напевом.

4

-- ...помню: жаркой требухою, мертвым полем под сохою,
Выворачивалась площадь, где пехота бой вела.

Помню башню Аль-Кутуна, где отбросили к мосту нас,
И вода тела убитых по течению влекла...

Ты обложил меня со всех сторон, Златой Овен, рогатый пастырь; даже приняв смерть от моей

руки, ты бродишь за мной неуспокоенным призраком -- и блеешь во тьме, смеясь над безумным поэтом! Ты спрятался от меня в гибельной мгле, которую я сам даровал тебе; теперь мне не достать, не дотянуться, не ухватить за глотку барана, раздающего милостыню направо и налево со щедростью владыки владык! О фарр-ла-Кабир, единственное, что ты не смог вплести в ткань своей изысканной шутки -- это кровь моего сердца, стрелы моего колчана, мои слова, рожденные из тех глубин, куда я сам редко осмеливался заглянуть... Все ложь: походы и завоевания, падения и взлеты, годы и фарсанги расстояний, имена и клички -- все в мире ложь, кроме этого!

Спасибо тебе, Златой Овен. Низкий поклон, ибо без тебя я никогда не достиг бы понимания простой истины: можно возвести гробницы и дворцы, обойдясь без каменотесов или зодчих, можно воскресить мертвых и похоронить живых, швыряя жизнь со смертью игральными костями, путая чет с нечетом; но нельзя заставить кабирских чангиров петь мои песни, если я, я сам, не захотел отдать им эти песни!

Это единственное, что поэт может сделать сам, и только сам!

Я благодарен тебе: ты делал меня владыкой, упрямо и самозабвенно, пытаясь уподобиться Творцу, ты лепил меня-нового из глины власти, чтобы я остался прежним.

Спасибо -- и прости.

Я убью тебя снова.

Навсегда.

-- ...помню горький привкус славы, помню вопли конной лавы,
Что столицу, как блудницу, дикой похотью брала.

Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур облаченный,
А со стен потоком черным на бойцов лилась смола...

Ты травмишь меня сворой псов-подробностей, Златой Овен, все за тебя -- правда и ложь, быль и небыль, мой сын, которого я не зачинал, мои походы, которых я не совершал, мои сподвижники, гибель которых я видел собственными глазами! Я -- никто, я меньше, чем никто, и нет у меня орд, способных обвалом рухнуть с Белых гор Сафед-Кух на твои твердыни, о вожак стад! -- нет и свидетелей, способных обвинить тебя на высшем суде, ибо Гургин далеко, а остальные безнадежно немые, кроме этого умирающего кузнеца, чье существование -- прах под зимним ветром!

Я брожу по твоим пастбищам неприкаянным призраком, погибшей душой, стеноя о том, что ушло прошлогодним снегом; я вновь добрался бы до Мазандерана, я вновь свернул бы тебе шею, если бы знал: это хоть что-то изменит!

И все-таки я возьму Кабир.

Сам.

Здесь и сейчас.

-- ...воля гневного эмира тверже сердцевины мира,
Слаще свадебного пира, выше святости была...

Они слушают меня, открыв рты, они внимают тому, что выше нас, выше всех, выше мавзолеев и тверже гранита, они берут твой Кабир вместе со мной, заново -- посмотри в их глаза, мертвый череп! Посмотри и ухмыльнись, если сможешь! Там клубами плещет дым горящей столицы, там сшибаются всадники, там в стенном проломе бьются последние защитники Кабира, и вой гургасаров перекрывается визгом бедуинов Антары Абу-ль-Фавариса; их взгляды полны огня и стали, бешенства и ярости, их взгляды -- зеркала, их души -- зеркала, их жизнь, исковерканная тобой -- зеркало, где теперь отражаюсь я-настоящий, я-живой, я-подлинный...

Моя прихоть равна твоей, о Златой Овен, потому что я стою ныне на своей земле, и не баранам гнать меня прочь, туда, где мы все презренно равны: рогатые и безрогие!

Я возьму твой Кабир.

Сам.

-- ...над безглавыми телами бьется плакальщицей пламя,

Над Кабиром бьет крылами Ангел Мести, Ангел Зла,

Искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться --

Плачь, Златой Овен столицы, мясо бранного стола!

Звени, чанг -- оружие превыше мечей, господин превыше венценосцев, истина превыше летописей или памяти; звени, пой, опускайся ятаганом на холку проклятой твари, даже если я лщу сам себе несбыточной надеждой, и все мои упования -- льдинка на полуденном солнце!

Обманывая сам себя -- я все равно обманываюсь сам.

Сам.

* * *

...старый Коблан прожил еще три с половиной дня.

Все это время Абу-т-Тайиба не отпускали: самая лучшая еда, самое мягкое ложе, любая одежда, золотые динары, лишь пожелай он, были бы к его услугам. Во двор с утра набивались толпы людей -- забыв о смерти, забыв о скорби, они приходили слушать, и пламя души умирающего все жарче горело во впадинах глазниц.

Тело уходило без боли и сожаления.

Кузнец умрет, произнеся всего два слова.

-- Ш-ш... ш-шахский дар,-- скажет он, и отойдет к праотцам с улыбкой.

Все решат, что покойный имел в виду доспех, оставленный ему первым эмиром Кабирским.

А Абу-т-Тайиб лишь кивнет и закроет умершему глаза.

Наутро поэт оставит дом Кобланов, попрощается у ворот со старушкой, а потом зашагает себе дальше.

По эмирату, от барханов Верхнего Вэя до масличных рощ Кимены.

Он никогда и никому не скажет, что в свою последнюю ночь, проведенную у кузнеца, он тайком ходил в кладовку.

Туда, где хранился драгоценный сундук с латами.

Крышка откинулась без скрипа.

Вместо бараньего черепа по зеркалу панциря вилась ровная вязь; две строчки.

Бейт из “Касыды о мече”.

-- Живой, я живые тела крушу, стальной, ты крушишь металл --

И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Поэт закрывает крышку.

Мертвых не существует.

Совсем.

Глава пятнадцатая,
подлежащая было усекновению

по причине отсутствия ответов на вопросы,
но даже Аллах (слава Ему!)
не обещал отвечать на все загадки Мироздания (при условии,
что кто-то из смертных дерзнет беспокоить Господа миров
своими наглými домогательствами).

1

-- Открывай, хозяин! Именем светлейшего эмира Салима! Открывай, пока мы не разнесли ту
рухлядь, которую ты по недомыслию именуешь дверью!

Гулкие удары.

Брань стражников.

Испуганный голос за дверью:

-- Кто вы, добрые люди? И что вам нужно в моем доме в столь ранний час?

-- Оглох?! Именем светлейшего эмира и его наместника в Дурбане! Открывай, кому говорят?!

Лязг засовов, жалобный скрип петель.

И поспешный грохот тяжелых сапог -- мимо едва успевшего посторониться хозяина.

Бледного коротышки в ночной сорочке и остроносых домашних каушах на босу ногу.

-- Где он?! -- последний стражник задерживается в дверях, нависает над низкорослым
хозяином, дышит в лицо чесночным перегаром.

-- Кто, господин?

-- Чангир этот, кто ж еще?

-- Пусть господин простит меня, скудоумного, но я не понимаю, о ком идет речь! В моем доме
нет никаких чангиров! Я честный красильщик, подати плачу исправно...

-- Не болтай зря, красильщик! Лучше сразу отвечай, где его прячешь -- как бы не сожалеть потом!

-- И рад бы сказать, господин -- да не знаю, о ком речь! В доме только я, мои жены с детьми, да еще подмастерье. Подмастерье, правда, ловок струны драть, только все больше не на чанге, а на ребабе...

-- А если посмотреть с пристрастием?!

-- Смотрите, господин, только я вам, как пред самим Творцом...

А в доме тем временем уже по-хозяйски топочут сапоги. Трещит мебель, возмущаясь наглостью чужих рук, голодными ртами распахиваются крышки сундуков, содержимое их бесцеремонно вываливается прямо на пол, в воздухе плавают пух из распоротой перины; и тихо причитает старшая жена красильщика.

Младшая, круглолицая бабенка с разбитной ухмылкой, молчит.

Скалится, блудница!

-- Здесь! -- радостно кричит один из ранних гостей.-- Господин он-баши, здесь люк под ковром!

Приводят хозяина.

-- Ну что, скажешь -- нет его там? В последний раз добром спрашиваю!

-- Н-нет, господин...

-- Открывай!

Крышка поднимается без скрипа -- сразу видно, пользовались люком часто, на масло для петель не скупилась, исправно мазали.

Один из стражников сунулся вниз с лампадкой в руке.

-- Ага, попался!

Наружу был немедленно вытолкнут тощий паренек -- востроносенький, с испуганно бегающими глазками, одетый в одно исподнее.

-- Да это же мой подмастерье! -- всплескивает руками красильщик; и напускается на паренька.--
Что ты там делал, Азизам?!

-- Я... я... не надо меня в тюрьму! Не крал я те пряники! Клянусь мамой, не крал! Я деньги на прилавок положил, а тут он ко мне поворачивается и кричит: вор! держи вора! Испугался я, побежал... Не надо меня в тюрьму, не виноватый я!

Плечистый он-баши, успев дважды стукнуться наверху шлема о низкую притолоку, только плюет с досады.

На пол.

-- Заткнись, дитя разврата! -- рывкает он, сам плохо понимая, кого имеет в виду: хозяина? подмастерье? всех вместе?

Злоба распирает душу сброженным сулом.

-- Эй, Саид, больше там никого нет? Хорошо смотрел?

-- Хорошо, хорошо,-- ворчит из подполья Саид.-- Тряпки тут всякие, краска... людей нет, господин он-баши!

-- Ладно, вылазь. Пойдем отсюда.

Уже выйдя на улицу, он-баши с досады засаживает кулаком в крайний из опорных столбов, поддерживающих кровлю айвана, заставив столб дрогнуть. Снова придется докладывать: упустили! А, может, и впрямь не было его там?!

Стражники опасно молчат.

Зевают, прикрывая рты ладонями.

-- Поторопись, уважаемый! Стражники уже в доме, небось! Скоро по окрестностям шарить начнут -- уходить надо. Ну да нам везет, до затоки теперь рукой подать...

-- Спешу, спешу, мой проводник! -- весело откликнулся человек.

И действительно прибавил шагу, стараясь не отстать от провожатого.

Далось ему это с некоторым трудом: человек явно разменял полвека, был не то чтобы тучен, но грузен изрядно; и слегка припадал на левую ногу -- растянул, должно быть.

Вскоре полы джуббы беглеца зашуршали среди прибрежных камышей.

Захлопала вода под стоптанными сапогами.

-- А вот и Монсур-рыболов! Ждет, молодчина... Счастливого пути, певец!

-- Спасибо, добрый человек. И тебе, и красильщику-хозяину, и всем вам -- низкий поклон! Ну что, Монсур, поплыли? Я, пожалуй, на весла сяду -- а ты рулить будешь. Так?

-- Еще бы не так! -- угрюмо буркнул Монсур, помогая ступить через борт.-- Ты тут нарулишь... и нагребешь...

Лодка бесшумно скользила по черной воде, рассекая носом белесую пелену, укутавшую саваном озеро Куч-Курган. Воистину: ножом мучную похлебку резать, и то проку больше! Туман расступался лениво, с неохотой -- чтобы немедленно сомкнуться позади. По сторонам темнели, шурша от зябкого ветерка, стены тростника; действительно, певец бы тут нарулил!

А Монсур, по всему видать, Озерному Деду родная душа...

Плыли не слишком долго: хитрей водяной змеи скользнули по затоке, и лодка мягко ткнулась носом в противоположный берег.

-- Эх, спел бы я тебе песню, Монсур, да, жаль, нельзя -- у этих уши, как у ишака! -- поэт выбрался из лодки.-- Может, динар возьмешь? У меня есть.

-- Со святых плату брать грех,-- с прежней угрюмостью отвечивал Монсур-рыболов.

Сказанные им слова странно противоречили хмурому лицу: с такой рожей не то что плату,

родную мать зарезать -- где мой нож?!

-- Какой же я святой? -- усмехнулся поэт.-- Брожу себе по белу свету, песни горланю, люди слушают -- вот и вся моя святость!

-- Некогда мне с тобой спорить,-- Монсур явно не был любителем долгих бесед.-- Не хочешь святым быть -- твое дело. Поторопись только. Вон там, от холмов наискось -- дорога на Оразм.

-- Ну, прощай тогда, шутник Монсур! Пусть рыба легко идет в твои сети, а счастье -- в твою душу... Удачи!

Поэт закинул за спину выдавший виды хурджин, уместил поверх зачехленный чанг -- и, чуть прихрамывая, двинулся к округлым холмам, проступавшим в тумане грудями блудницами.

Где должна была лежать дорога на Оразм.

Рыболов долго глядел ему вслед. Очень долго, пока фигура певца не растворилась во мгле. Но и после Монсур еще с полчаса продолжал сидеть в лодке -- оглядывался, прислушивался.

И слышал.

Стук копыт. Ближе, ближе... И вот, наполовину скрытые молочной кисеей, мимо проносятся силуэты всадников.

Конный разъезд!

Топот не успел стихнуть -- а Монсур уже бежал. Он знал, куда направился поэт, и куда поскакал разъезд. А еще он знал короткий путь. Он успеет, успеет перехватить, дать знак...

Тайная тропка сама легла под ноги. Мягкие ичиги, выменянные в свое время у неразговорчивых, как и сам рыболов, горцев Озека, и предусмотрительно надетые сегодня, делали шаги бесшумными, и не надо было осторожно красться, стараясь не выдать себя, не надо было терять драгоценное время.

В последний раз Монсур бежал так, во весь дух, ребенком -- спасаясь от девок Озерного Деда, падких на заблудших молокососов.

На миг ему показалось: на склоне ближнего холма мелькнула фигура с хурджином за спиной. Рыболов прибавил ходу, но проклятый туман перед ним за клубился, потек киселем, чтобы минутой позже начать редеть, истончаться -- и, добежав до гряды, Монсур увидел: впереди никого нет.

Холмы здесь заканчивались, дальше начиналась обещанная дорога, на которую как раз выезжал из-за поворота давешний разъезд. Выезжал, бросив горячить коней: за кем гнаться, почтенные?! Место здесь открытое, спрятаться невозможно... а на дороге пеший от конного и без скачки не уйдет.

Только нет его, пешего-то!..

Рыболов на всякий случай обошел холм кругом. И от всадников подале, и оглядеться не грех. Никого. Чудеса, да и только!

“А ведь верно -- чудеса!” -- дошло вдруг до Монсура.

Даром, что ли, в народе считают этого человека святым? -- а то и вовсе самим Абу-т-Тайибом аль-Мутанабби, вернувшимся с того света...

Выходит, прав был он, Монсур! Как есть святой! Исчез -- и поминай лихим помином! Теперь понятно, почему его уже два года не может изловить вся эмирская конница, вся эмирская рать!.. Одно неясно: если он, Монсур, прав, значит, святой был не прав, споря с ним? Что ж это получается?!

Прав, не прав... чудны дела твои, Отец Небесный!

3

-- Мой повелитель! Владыка Ночи докладывает -- этому человеку опять удалось уйти! Владыка Ночи обещает приложить все усилия, но пока...

-- Да что ж он, в самом деле святой?! Чудотворец?! В который раз...-- эмир Салим не закончил фразу. Оставил трон, прошелся по зале, время от времени косясь на распростершегося ниц вазирга.

-- Матери моей докладывал? Ее ведь затея...-- эмир остановился напротив вазирга, покачиваясь с пятки на носок и обратно.

-- Нет еще, мой повелитель. Нахид-хатун сейчас очень занята -- к ней привели очередного чангира. Он утверждает, будто знает две касыды вашего великого отца, которые до сих пор не звучали в стенах дворца. И Нахид-хатун распорядилась...

-- Понятно. Можешь не докладывать -- сам знаешь, что за дурные вести бывает... Или напомнить?

-- Как будет угодно моему...

-- Ладно, иди.

Когда пожилой вазирг, пятась и кланяясь, покинул тронную залу, эмир Салим снова прошелся от стены к стене. Задумчиво взял с золотого подноса гроздь винограда -- кименский “калинджари”, черней смолы, с тонкой кожицей... любимый виноград эмира.

Бросил ягоду в рот, постоял и скривился: дар лозы, подобного которому не найти в обитаемых четвертях земного круга, горчил.

Или дело не в винограде?

* * *

Слухи пестрыми гадюками поползли по эмирату около двух лет назад. Поначалу внимать им казалось глупей глупого. Ну, объявился какой-то бродячий чангир; ну, поет на площадях касыды покойного владыки, казалось бы, безвозвратно утеряные. Ну и пусть поет! Небось, старые записи раскопал. Или сам когда-то ходил в походы под началом славного завоевателя -- там и услышал, запомнил. Почему только раньше не объявлялся?

Впрочем, подобная ерунда меньше всего интересовала эмира Салима. Что, других дел в

державе нет, кроме как бродячих чангиров отлавливать?!

Отца этим не воскресишь...

Однако царственная матушка эмира крайне заинтересовалась новой молвой. А когда слух ее усладили дюжиной песен, приписываемых покойному супругу, в исполнении других чангиров -- Нахид-хатун неожиданно щедро одарила певцов. И распорядилась привести к ней того, который... в общем, ясно. Прихоть стареющей женщины? Почему бы и нет? Возможно, таинственный бродяга был знаком с ее мужем, воевал бок-о-бок -- славно вспомнить молодость, услышать рассказы и песни из первых уст...

Для кого прихоть, а кому -- беготня от заката до рассвета, и от рассвета до заката в поисках чангира, оказавшегося воистину неуловимым! Слуги с ног сбились, пытаюсь найти певца -- однако тот как в зыбучий песок канул!

Чтобы вскоре объявиться в Хаффе, затем в Мэйлане, Верхнем Вэе, после -- в Харзе, в Бехзде...

А потом к эмиру явился с докладом Владыка Ночи, начальник столичной стражи -- и правая рука Господина Приговоров, вазирга западной стороны трона. Владыка Ночи был неглуп, очень неглуп, дело свое знал; и имел нюх охотничьего пса на беспорядки и волнения, когда смута находилась в самом зародыше.

Доклад был подробным -- но оттого еще более странным.

Владыка Ночи не поленился собрать все донесения из разных уголков эмирата о появлении там искомого чангира, поющего касыды аль-Мутунабби. Затем бдительный блюститель опор власти сопоставил даты сообщений, расстояния между указанными в них городами... и решил, что кто-то сошел с ума! Или он сам, или его осведомители, или весь мир разом!

Замеченный в Мэйлане, певец никак не мог неделю спустя объявиться в Харзе! Даже если скакать день и ночь, ежедневно меняя лошадей на свежих -- все равно, от Мэйлани до Харзы около месяца пути! Добраться быстрее просто не в человеческих (и не в конских) силах!

Разумеется, оставалась возможность ошибки, и в Мэйлане касыды покойного эмира пел один человек, а в Харзе -- другой. Именно об этом в первую очередь и подумал Владыка Ночи. Однако, сравнив описания внешности чангира из разных донесений, он пришел к выводу: человек был один и тот же. Одежда, телосложение, шрамы на горле и на скуле, недостача пальцев на левой руке, что отнюдь не мешало бродяге ловко управляться с чангом -- донесения сообщали обо всем этом в один голос!

Столь совершенных двойников не сыскать даже среди братьев-близнецов -- в последнем Владыка Ночи был уверен.

Затем всплыла очередная несуразица во времени, следом явилась ее родная сестра, хихикая втихомолку: от Кимены до Хаффы бродяга добрался за день; не иначе, одолжил летучий хурджин у Ушастого демона У!

И тогда Владыка Ночи забеспокоился всерьез. Дело попахивало колдовством или явлением святого -- никаких других объяснений происходящему не было!

Слухи тем временем ширились, обрастали истинными или на ходу выдуманскими подробностями: в народе шептались, что смерть аль-Мутанабби была подлогом, сыновним бунтом против отца, и вот теперь отец возвращает людям свои стихи, бездарно утерянные глупцами! Или нет, смерть есть смерть, но Творец отпустил поэта-воина из райских пределов, вняв скорби его касыд, дабы поэт мог завершить свои земные дела; а какие именно дела -- о том можно только гадать! Говорили и о новоявленном святом, и о деревенском дурачке, в коего вселилась душа первого кабирского эмира, и о...

Разное говорили.

Владыка Ночи не мог допустить, чтобы по эмирату летал колдун или святой, принимаемый чернью за покойного эмира. Слухи и так уже начали принимать опасный оборот: видать, не по отцовским заветам правит нынешний эмир, ежели отцу во гробнице не спится вечным сном!

Необходимо было принять меры. Срочные меры. А для этого Владыке Ночи требовалось разрешение светлейшего эмира Салима.

За чем он и пришел во дворец с подробным докладом.

Эмир так до конца и не поверил Владыке Ночи: склонность последнего сгущать краски возможных бед и волнений была хорошо известна сыну аль-Мутанабби. Тем не менее, соответствующий фирман Владыка Ночи получил -- и началась охота.

По всем правилам.

Но с единственной оговоркой: стражникам было строго-настрого велено взять певца ТОЛЬКО ЖИВЫМ, не нанося ему телесных повреждений. И под конвоем препроводить в Кабир, пред светлы очи эмира и вдовствующей Нахид-хатун.

Охота началась -- и продолжалась вот уже два года без малого.

Ищи ветра в поле!

* * *

-- Дворцовый хабиб просит высочайшего позволения войти!

-- Пусть заходит.

Лекарь с порога пал ниц, и эмир раздраженно поморщился: величие величием, но иногда надоедает. И время уходит впустую...

Перевалив за третий десяток, эмир Салим стал чаще жалеть уходящее время.

-- Вставай. Ты пришел сообщить мне о состоянии здоровья моей матушки?

-- Прозорливость великого эмира может сравниться разве что с его же мудростью! Да, я пришел поговорить с моим повелителем именно об этом. К сожалению, никаких улучшений в состоянии здоровья Нахид-хатун не происходит. И даже наоборот. Стеснение дыхания усиливается,

разлитие черной желчи влечет за собой меланхолию, слабы выделения тела; вдобавок... позволит ли мой повелитель продолжить, ибо сам я не смею?

-- Продолжай. И ничего не скрывай -- я хочу знать правду. Моя мать умирает?

-- Еще нет, мой повелитель, еще нет -- но все к тому идет, и мое искусство здесь бессильно.

Мне кажется, сиятельная Нахид-хатун просто устала от жизни. Ей скучно жить. Такое бывает...

-- Я знаю. Думаю, ты прав. Можешь что-то присоветовать?

-- Разве что чистый горный воздух и целебные источники Бек-Неша, мой повелитель. Вряд ли они вернут вашей матушке волю к жизни -- но могут заметно облегчить ей дыхание. Тогда появится надежда...

-- Я понял, хабиб. И поговорю со своей матушкой -- возможно, ей действительно стоит отправиться в горы. Опять же, путешествие хоть немного развлечет ее. А ты,-- палец эмира уперся в грудь лекаря,-- будешь ее сопровождать! Слава Творцу, здесь больше нет тяжелобольных -- так что твои ученики вполне управятся. Ступай!

Отпустив хабиба, эмир Салим еще долго стоял в задумчивости. Похоже, неудачи поисков и хвори-злодейки осадили крепость Нахид-хатун, приближая день сдачи. Даже стремление встретиться с удивительным чангиром исчезло. Скажем честно: касыды аль-Мутанабби распевали сейчас сотни певцов по всему эмирату, и отыскать среди них нужного -- будь он хоть колдун, хоть святой... особенно, если он действительно колдун или святой! Молва, словно весеннее половодье, мало-помалу вернулась в теснину дозволенного русла, опровергнув мрачные предсказания Владыки Ночи. Пожалуй, хватит гонять стражников за призраком. Есть дела и поважнее!

Приняв решение, эмир хлопнул в ладоши.

Миг -- и в залу вбежал юный гулям, ожидая распоряжений.

-- Про указ эмирский слыхал? -- дюжий гончар аккуратно отставил в сторону готовый кувшин и сунул руки в лохань с мутной водой -- ополоснуть.

-- Не глухой, чай,-- покупатель, медник с соседней улицы, придирчиво осмотрел кувшин. Не тот, что минутой ранее сошел с гончарного круга; другой, уже расписанный и обожженный. Кувшин явно глянулся меднику, но братъ без торговли -- обидеть мастера!

-- Ну?

-- Вот те и ну... Два года ловили, а теперь вдруг -- на попятный? Небось, нарочно указ-то огласили. Вот поверит ОН, что минула опала, бросит хорониться -- тут-то ЕГО и возьмут за шкуру!

-- Болтун ты,-- ухмыльнулся гончар, отряхивая мокрые руки.-- ОН и раньше-то не больно хоронился... Возьми ветер за шкуру! А так -- все верно. Зря, что ль, другим чангирам по куче монет отваливали, да с почетом отпускали? Думали, ОН клюнет, заглочит крючок! Нет уж, народ не обманешь, а ЕГО -- и подавно!

-- Точно,-- медник не обиделся на "болтуна".-- Народ все видит! Нам-то ОН поет, а ИМ -- шиш с бараньим жиром!

И сменил тему:

-- А скажи-ка, уважаемый, во сколько ты ценишь этот простенький кувшинчик для воды?

-- Простенький?! Для воды?! -- гончар воздел руки возмущения над головой гнева.-- Да в таком кувшине не стыдно подать лучшее вино на стол самому эмиру! Нет, ты посмотри, уважаемый, посмотри -- тут одной росписи на динар, не считая...

Поэт, скоротав ночь в доме гончара, сидел, никем не замеченный, в дальнем углу двора, в тени приземистого аргавана, и с улыбкой слушал разговор.

Два года поисков минули, скрылись в бездне времени. Он мог уйти от преследователей в любой момент, открыв первый попавшийся Ал-Речат, как хозяин дома открывает привычную с детства калитку. Однако поэт редко пользовался новым умением. Не раз его прятали от властей благодарные слушатели, не раз провожали задворками или тайными тропами в горах -- и он не мешал этим людям спасти его. Они сами делали свой выбор, сами решались укрывать беглеца от властей; поэт был счастлив их свободой. Счастлив чужим поступком. Счастлив... Он ничего не имел против эмира Салима и его слуг, но каждый раз, когда очередной гончар или красильщик спасал от погони незнакомого ему чангира -- сердце поэта пело от радости!

Он все-таки взял Кабир! Взял сам, как и хотел того -- не мечом, но песней.

Пора подводить итоги. В последние дни поэта все чаще необъяснимо влекли горы, перевал Бек-Неш, славный целебными источниками -- и обилием Ал-Речатов, которые поэт чуял даже отсюда.

Это означало одно: пора уходить.

Пора.

5

Рыжая кобылица зари, плеча гривой, стремительно неслась в небо; еще скрытая за седыми от снега вершинами, она спешила подарить людям первые отсветы зарождающегося дня.

Матушка эмира Салима, проведя ночь в обнимку с удушьем, наконец уснула. Уснул и пожилой хабиб, до утра не сомкнув глаз у ложа Нахид-хатун.

Зато в соседних шатрах и около них всю кипела жизнь. Спешили за водой служанки, разжигали огонь челядинцы, то и дело норовя уцепить девушек за тугие ягодицы. Результат сего ухода поражал разнообразием: от лукавого подмигивания до звонкой пощечины.

Жизнь потихоньку вступала в свои права, потягивалась, просыпаясь -- и явление немолодого

чангира мало кого заинтересовало.

-- Откуда взялся, странничек? -- повар у котла зевнул, пытаясь скоротать время беседой.

-- Пришел,-- лаконично отвечив чангир, расчехляя свой выдавший виды инструмент.

-- Ну и шел бы дальше...-- повар без видимой причины охладел к пустым разговорам, но его перебила подошедшая сзади служанка.

-- Чего ты человека гонишь, Низам? Видно же: не вор, не разбойник! Спойет нам, чтоб работалось веселее, а от твоей шурпы не убудет!

-- Нашла время для песен! -- напустился на девушку бдительный Низам.-- Госпожа почивать изволит! Еще разбудит...

-- Не разбудит! -- беззаботно махнула рукой служанка.-- Ты тихонько, чангир, ладно? А этого скупердяя не слушай: у него подружку один такой, как ты, увел, вот и злобствует!

Повар густо покраснел и заткнулся.

Веселая песенка о влюбленном парне и упрямой красотке, отправившей парня на край света искать ей заморские подарки, взвилась над малахитовой зеленью луга, где был разбит лагерь -- и работа, как ни странно, действительно пошла веселее. Чангир спел одну песню, потом другую, третью -- управляясь со своими делами, слуги собирались вокруг, садились, слушали...

-- А касыды аль-Мутанабби знаешь? -- с надеждой осведомился разом подобревший Низам, поднося гостю миску с дымящейся шурпой.

Чангир не ответил -- просто запел:

-- Я любовью чернооких, упоением битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.

Только мне -- влюбленный шепот, только мне -- далекий топот,

Уходящей жизни опыт -- только мне. Кому ж еще?!

-- ...Еще! -- выдохнул повар, когда касыда кончилась, и последние отзвуки струн растаяли, разбились о каменные зубцы ближних скал.

-- Дай ты передохнуть человеку! Шурпа стынет,-- немедленно встала на защиту певца давешняя служанка.-- Ты ешь, чангир, угощайся... А потом еще споешь?

-- Угу,-- с набитым ртом кивнул певец.

По всему было видно: человек успел изрядно проголодаться, и дважды упрашивать его отвесть шурпы не пришлось.

Почти сразу в шатре Нахид-хатун раздался слабый возглас.

Служанка бросила глядеть на певца, охнула, метнулась внутрь...

-- Ну вот, разбудили-таки,-- виновато пробормотал Низам.-- Сейчас всем нагорит!

Он выразительно взглянул на чангира, но тот не понял намека; или сделал вид, что не понял. Сидел, шурпу наворачивал, аж за ушами трещало!

-- Добрая похлебка,-- ухмыльнулся он, покончив с едой и вытирая руки о траву рядом с собой.-- А нагореть -- это вряд ли... Сами увидите!

Словно в ответ на его последние слова, полог шатра качнулся, и доверенная служанка поспешила к костру.

-- Светлейшая Нахид-хатун желает слушать твои песни! -- гордо объявила она.-- Я проведу тебя в шатер, чангир.

-- Мужнины стихи пой! Мужнины! -- зашептали со всех сторон.-- Озолотит! Иди!

-- Нет, я отсюда петь стану,-- неожиданно возразил певец.-- И касыды не аль-Мутанабби, а Рудаки!

-- Лучше делай, что говорят,-- зашептал чангиру прямо в ухо вездесущий Низам.-- А кто такой

этот твой Рудаки? -- непоследовательно поинтересовался он.

-- Его звали Адамом поэтов. Впрочем, это не важно. Нахид-хатун понравится -- я знаю.
Бродяга встал, и голос его сразу набрал силу.

-- Только раз бывает праздник, только раз весна цветет,--
Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет!

И людям у костра слышалось, что внутри шатра тихо ахнули.

-- Раз в году блистают розы, расцветают раз в году --
Для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет!

Полог шатра качнулся, как от легкого дуновения ветра.

Нахид-хатун стояла перед чангиром, судорожно вцепившись непослушными пальцами в одну из шатровых растяжек. Вдова первого эмира кабирского была далеко немолода, время дурно обошлось с бывшей красавицей-хирбеди, а болезнь иссушила тело, сделав его легким, почти прозрачным, готовым, казалось, взлететь при первом же порыве ветра, чтобы умчаться прочь из этой обители скорби.

И при взгляде на эту осень, на тихую пору увядания, щемило сердце, а к горлу подступал комок.

Поэт на миг запнулся, не в силах оторвать взгляда от женщины у шатра. Потом губы его шевельнулись -- беззвучно, рождая слова, слышные лишь двоим:

-- Только раз в году срываю я фиалки в цветнике --

А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет!

-- Мерзавец! -- прошептала женщина.

Слуги застыли с раскрытыми ртами, не понимая, что происходит, и что им теперь делать.

-- Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!

-- Да, да, Нахид! Еще! Еще! Кто я?!

...Только раз в году нарциссы украшают грудь земли --

А твоих очей нарциссы расцветают круглый год!

-- Собачий сын!

-- Еще!

-- Мучитель!

-- Кипарис -- красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,

Но в сравнении с тобою он -- горбун, кривой урод!

-- Палач!

-- Еще! О-о, еще!..

-- И еще... еще... Еще ты -- поэт. Ты мой муж, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби! Где же ты шлялся столько лет, изверг?!

* * *

-- Ты сказала! -- лицо поэта осветила улыбка.-- Теперь я твердо знаю, кто я такой. И важно ли, где я был все эти годы?.. Пойдем. Нам пора.

Застыв идолами, поклоняться коим -- грех, слуги молча смотрели, как бродяга осторожно обнимает плечи светлейшей матушки эмира Салима, как они идут прочь, дальше, дальше, по зеленому лугу -- и вот луговина пуста.

Чудо?!

Лишь повар Низам успел заметить: перед самым исчезновением на том краю луга встал призрак. Зыбкий силуэт высокого старца в накидке цвета шафрана. Старец улыбался, и у ног его курилась жаровенка в форме то ли краба, то ли солнечного диска с лучами...

-- Помилуй нас, Творец! Что мы скажем эмиру?! -- потрясенно шепнул Низам побелевшими губами.

Доверенная служанка вдруг со всех ног бросилась в царский шатер -- и мгновением позже оттуда раздалась ее причитания.

Зря...

Впрочем, ведь служанке покойной Нахид-хатун никто никогда не говорил, что мертвых не существует.

Совсем.

ЭПИЛОГ

-- Я знаю мир -- он стар и полон дряни,
Я знаю птиц, летящих на манок,

Я знаю, как звенит эю в кармане,
И как звенит отточенный клинок.
Я знаю, как поют на эшафоте,
Я знаю, как целуют, не любя,
Я знаю тех, кто “за” и тех, кто “против”,
Я знаю все, но только не себя.

Толстый лютнист, минутой раньше одолживший наглому школяру свой инструмент, был вне себя от ярости. Даже курицу не доел -- жареную курицу с гарниром из тушеной капусты, куда подлец-трактирщик положил мало сала и много моркови. Обвислые брыли лютниста побагровели от прилива крови, а нос стал и вовсе сизым, пористым, хоть бери и запекай вместо баклажана!

Пальцы его, жирные пальцы чревоугодника -- впрочем, они весьма ловко управлялись и со струнами лютни -- сжимались в кулаки. Вот огреть бы по уху шалопая, огреть смачно, всласть, чтоб слова скомкались у него в глотке грязным бельем шлюхи из портовых заведений; если, конечно, у таких девок есть белье, в чем достойный лютнист изрядно сомневался.

Мерзавец!

Похабник!

Ворюга...

А школяр, зная не зная о чувствах лютниста, продолжал рвать струны, выкрикивая на всю таверну “Золотая Роза”:

-- Я знаю шлюх -- они горды, как дамы,

Я знаю дам -- они дешевле шлюх,

Я знаю то, о чем молчат годами,

Я знаю то, что произносят вслух,
Я знаю, как зерно клюют павлины,
И как вороны трупы теребят,
Я знаю жизнь -- она не будет длинной,
Я знаю все, но только не себя.

Увы, негодование лютниста отнюдь не разделяли собравшиеся в таверне люди. Смеялся, слушая школяра, бродячий жонглер, чьи разноцветные штаны и лазоревая котта с нашитыми бубенцами выделялись ярким пятном в дымном чаду “Золотой Розы”. Вторила смеху спутника юная акробатка, машинально стирая рукавом со щек густые румяна; за соседним столом равнодушно жевал старик-крестьянин, глухой, как пень. Требовали продолжения трое солдат в панцирях из буйволово́й кожи, и вино клочотало в их глотках, а похоть горела в их взглядах, когда мимо проходила толстозадая служанка, рябая девка в засаленном чепце. Сержант поглядывал в угол, где стояли солдатские алебарды, крутил длинный ус, не мешая гульбе подчиненных -- в Париже чума, в деревнях беспорядки и недород, где еще отвести казенную душу, как не в кабаке?

А школяр, из тех клириков Веселой Науки, что в любом возрасте остаются семнадцатилетними мальчишками, несмотря на выбитые зубы и седину в кудрях, все пел, вспрыгнув на стол, все терзал взятую напрокат лютню костлявыми пальцами...

-- Я знаю мир -- его судить легко нам,
Ведь всем до совершенства далеко,
Я знаю, как молчат перед законом,
И знаю, как порой молчит закон.
Я знаю, как за хвост ловить удачу,

Всех растолкав и каждому грубя,
Я знаю -- только так, а не иначе...
Я знаю все, но только не себя.

И лютнист наконец не выдержал.

-- Это ложь, -- завопил он, привлекая всеобщее внимание. -- Это жалкое подражание! Я лично -- слышите? лично! -- присутствовал на поэтическом турнире у герцога Шарля Орлеанского! Я собственными ушами слышал посылку, данную его высочеством: “От жажды умираю над ручьем!” И ответные баллады Жана Робертэ слышал, и мэтра Астезана, и Франсуа Вийона! И потом я слышал Вийона близ церкви Сен-Бенуа, когда он продавал “Балладу состязания в Блуа” и “Балладу примет” по десять су за строчку! Там были совсем другие слова! Совсем другие! Как ты посмел, виршеплет, как ты... посмел... исказить... Отдай мою лютню! Отдай немедленно!

-- Лови! -- гибкий, как ивовая плеть, школяр швырнул лютню ее владельцу. -- Что ж ты не купил балладу, пока шла по дешевке? Небось, поскряжничал, жмот! -- а теперь развонялся: “Слова! Не те слова!” Хочешь всегда одинаковых слов -- женись! Небось, женушка тебя одинаково звать будет, рогач ты эдакий!

-- Я...-- задохнулся лютнист, прижимая инструмент к дряблой груди. -- Я... чтобы всякое отребье, всякий висельник...

Но школяр уже не смотрел в его сторону.

Солдаты разразились громовым хохотом, требуя, чтобы оба бездельника кулаками выяснили отношения -- если, конечно, они считают себя мужчинами, а не оципанными кочетами! Служанка, являя пример женской непоследовательности, заигрывала со школяром, явно предпочитая ласки муз прелестям походной любви; а жонглер с подругой втихомолку подсчитывали дневную выручку -- хватит ли заказать жбан красного?

Да еще скучал в углу темнолицый мавр, разодетый с истинно восточной пышностью, которой уж никак не место было в “Золотой Розе”.

Сержант покосился в сторону мавра. Мысленно посетовал на нерасторопность испанских кабальеро, что до сих пор не успели прибрать к ногтю Гренадский эмират, а заодно и на собственного всехристианнейшего короля Людовика, позволяющего черномазым нагло расхаживать меж честных французов; и усы сержанта воинственно встопорщились.

Ишь, паленая кость, нехристь! -- целый экю бросил школяру через всю таверну. А тот рад стараться: поймал, и к сердцу прижал, и расцеловал, голытьба...

Нам за экю больше горбатиться надобно!

Ну да ладно, будет и на нашей улице праздник; как не бывать...

Когда школяр собрал пожитки и, вскинув котомку на плечо, пошел прочь из “Золотой Розы”, сержант исподтишка показал солдатам кулак.

Большой такой, волосатый кулак, со вздутыми костяшками.

Алебарды были расхвачаны в считанные секунды, а служанке осталось только провожать мужчин взглядом: школяр, солдаты... не жонглера ведь соблазнять?

Может, мавра?

Но темнолицый рассчитался сполна, даже с лихвой, и вскоре на долю служанки остались лишь бродячие актеры, да еще глухой крестьянин, равнодушно жующий вареную репу.

* * *

Осенняя распутица влажно чавкала под ногами. Заслышав топот за спиной, школяр проворно перепрыгнул канаву -- и собрался было бежать. Увы, ноги подвели хозяина. Подломились в коленях,

не удержали легкого тела; правый сабо свалился наземь, жабой ускакал в грязное нутро канавы, и сперва деревянный башмак погрузился в жижу до половины, а там и вовсе оплыл на дно.

-- Стой! -- рявкнул сержант.-- Стой, говорю тебе!

-- Господа, господа,-- заюлил школяр, шаря по сторонам взглядом затравленной крысы; котомку он выставил перед собой, будто защищаясь.-- Если вы хотите отобрать у бедняги его нечаянную удачу, последнюю монетку, брошенную судьбой в лице славного мавра -- она ваша! Если же вы намерены причинить мне зло... Господа солдаты, господин сержант, на ваших лицах я читаю добродушие и любовь к ближнему! Позвольте мне идти своим путем!

Сейчас, стоя вплотную, было видно: школяр отнюдь не юн. Даже не молод. Небось, четвертый десяток разменял, и вряд ли меньше, чем наполовину. Сука-жизнь изрядно потрепала клирика Веселой Науки: когда он говорил, явственно обнаруживалась недостача зубов, кудри поредели, соль времени густо проступила на них, и впалые щеки говорили сами за себя. Нервные пальцы, костлявые, с распухшими суставами, сжимали котомку все теснее; так цепляется за кошель скряга, встреченный ночными шутниками. Одет школяр был бедно, плащ (явно с чужого плеча!) снизу доверху заляпан рыжей глиной; и стоя, ему приходилось кособочиться из-за потери сабо.

-- Своим путем? -- сержант довольно ослабил, воняя перегаром.-- Не пойдешь, соловушка -- побежишь!.. полетишь...

И мигнул солдатам.

Тупой конец алебарды угодил школяру в живот. Тот согнулся, бляя недавним обедом; и древко с костяным стуком опустилось на спину в грязном плаще. Солдаты столпились вокруг упавшего, носки и подошвы сапог с сочным чавканьем, подражая распутице-распутнице, принялись месить вскрикивающее тесто; нашлось место и древкам алебард...

-- Тише, парни, тише! -- прикрикнул сержант на увлекшихся подчиненных.-- Не до смерти... пока.

И подошел ближе, склонился над растерзанным человеком.

-- Г-го...-- гусиный гогот вырвался из губ, более всего напоминавших сейчас мучные клецки, измазанные вишневым сиропом.-- Г-господа... н-не надо, господа...

-- Ты, грамотей, зла не держи,-- в единственном глазу, который еще не утратил способности видеть, вспыхнула отчаянная надежда; и угасла, зашипев в ледяном спокойствии взгляда сержанта.-- Я -- человек приказа, что велено, то и делаю. Ты лучше вот что скажи: лейтенанта Массэ помнишь?

Школяр все пытался отползти, отодвинуться; вжавшись спиной в ствол древнего вяза, он трясущейся рукой полез за пазуху.

Серебряная рыбка ножа плеснула хвостом, вздрагивая от зябкой сырости; и ухмылка опять встопорщила усы сержанта.

Солдаты дружно заржали.

-- Ты, грамотей, ножиком-то не тычь, не грози... Не о ножике спрос. Лейтенанта Массэ, говорю, помнишь? Ну, того, которого ты в своих “Заветах” на весь белый свет ославил?! Сопляки голозадые -- и те по сей день орут: “Не стряпчий, не судья, не граф -- пускай тройной заплатит штраф Массэ, потомственная шлюха!”

И сержант скосился на подчиненных: смеяться станете -- удавлю!

-- Вижу, помнишь. Так ведь и он тебя помнит! Всехристианнейший король наш, Людовик, тебя простил, а лейтенант не король, он прощать не обучен...

Еще один взгляд в сторону солдат: я этого не говорил, вы не слышали!

Ясно?

Солдатам было ясно.

-- Эх, грамотей, тебе б ноги делать, да подальше! -- а ты ходил-бродил, и опять к Парижу потянуло! Кого куда, лису в курятник, а тебя -- на лобное место. Что ж, плати, раз кредиторы объявились...

В следующую секунду храбрый сержант отшагнул назад и осенил себя крестным знаменем. Клянусь подвязками святой Женевьевы, ведь не было, никого не было рядом, кроме школяра и парней; вот незадача!

Из-за ствола вяза бочком выбрался давешний мавр.

Встал рядом со школяром, чучело бородатое, одернул свою одежду -- простой христианин и не выговорит, как эта пакость называется! -- по-птичьим склонил голову в тюрбане к левому плечу.

-- Доблестные воины,-- по-французски мавр говорил гортанно, с придыханием, но вполне понятно,-- оглянитесь вокруг!

Сержант завертел головой: неужто тьма мавров кругом бродит?

Ф-фу, врет, кость паленая...

Тишь да гладь.

-- Оглянитесь,-- гнул свое черномазый,-- и ощутите на губах сладость нынешнего дня! Разве лебедь ликования не парит в облаках ваших душ при одной мысли о том, что дней таких мало в нашей жизни, как мало жемчужин, но много пустых раковин на дне морском?!

-- Шел бы ты, приятель, подобра-поздорову,-- сержант уже малость пришел в себя. И то сказать: являются всякие, а ты их бредни выслушивай...-- Раз день по душе, так иди себе, жри на сладкое! А что за день хоть?

-- О, достойный воин, это день из дней! Ведь именно в этот день, в песках близ Нумании, ровно пятьсот лет тому назад...

Мавр оказался назойлив сверх меры.

Сержант поудобнее перехватил алебарду и смерил незваного гостя взглядом.

Массэ де Орлеан строго-настрого приказал: без свидетелей!.. ну что ж, без -- так без, в первый раз, что ли?

-- ...пятьсот лет тому назад умер в первый раз один малоизвестный поэт, рожденный в славном

племени Бану Джуф! И я дал себе обет: в день сей спасти от злой участи бедную душу, будь она душой правоверного или гяура, о коих сказано в Книге Неизменности...

Сержант справедливо полагал, что в Книге Неизменности ничего не говорилось о выпадах алебардой. О тех добрых выпадах, после которых остается лишь собрать потроха и убраться в ад, где дьявол уже приготовил для мавров местечко потеплее. Опытный вояка, он даже успел заметить, как черномазый ловко повернулся, пропуская мимо тяжелое лезвие; а вот когда кривой меч мавра покинул ножны -- этого сержант заметить не успел.

Так и остался стоять, сжимая в руках кусок древка, чисто срубленный у самого окончника.

Мавр кинул меч обратно в ножны и тщательно вытер сапоги о лезвие искалеченной алебарды. Острое такое лезвие; богатые такие сапоги, из отличной юфти, с кисточками по краю голенищ. Сержант ждал, и в голове его волчком вертелась дурацкая мысль: что за меч у проклятого мавра? Альфанга? -- нет, та короче, и конец у альфанги обоюдоострый... Симитарра? -- у этой изгиб другой. В оружейной лавке дядюшки Госсузэна по прозвищу Ослиное Ухо сержант не видел подобных клинков; а теперь и видеть не хотел.

Никогда.

Зато мысль о том, что недурственно было бы скомандовать парням... нет, такая мысль сержанту в голову не являлась.

Все-таки он был опытным человеком, этот сержант.

-- Пойдем,-- мавр тем временем помог школяру подняться, бережно поддерживая избитого человека. Не надо было слыть лекарем, чтоб понять: пара ребер у бедняги сломана, ибо каждый вдох давался ему со скрежетом зубным, а выдох и вовсе шел стонами.-- Обопрись о меня... вот так... а теперь пошли. И прошу: не оборачивайся...

-- Господин сержант! Господин сержант! Смотрите!

Школяр все-таки обернулся.

С холма было видно плохо, слезы боли застили взор, но он сумел-таки рассмотреть: солдаты сгрудились у канавы и, неловко используя алебарды в качестве багров, выволакивают из грязи чье-то тело.

Больше он смотреть не стал.

-- Ты обронил котомку,-- сказал мавр, незаметно поддерживая клирика Веселой Науки за талию.-- Ты обронил котомку, Франсуа. Хочешь, я подниму?

-- Не надо,-- ответил школяр, пережидая головокружение.-- Спасибо, добрый мавр; не утруждай себя. Я возьму сам.

Паутинки струились в стеклянном воздухе, скользя по лицам поцелуем осени, и клин журавлей рассекал небо над головами людей.

Декабрь 1997 г. -- апрель 1998 г.